

Мила Бояджиева

Бегущая в зеркалах



ФТМ



Л. В. Бояджиева

Бегущая в зеркалах

«ФТМ»

2013

Бояджиева Л. В.

Бегущая в зеркалах / Л. В. Бояджиева — «ФТМ», 2013

Героиня любовно-авантюрного романа, как и требует жанр, сталкивается с различными испытаниями, чтобы в итоге найти свое счастье. Все герои романа создают общий узор их судьбы.

© Бояджиева Л. В., 2013

© ФТМ, 2013

Содержание

Пролог	5
Глава 1	9
1	9
2	12
3	14
4	16
5	19
6	22
7	24
8	27
9	29
Глава 2	32
1	32
2	34
3	37
4	39
5	41
6	42
7	45
8	46
9	48
10	50
11	52
12	54
Глава 3	56
1	56
2	58
3	60
4	61
5	62
6	65
7	68
Глава 4	71
1	71
2	74
3	77
4	79
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Мила Бояджиева

Бегущая в зеркалах

Пролог

Облачным, но светлым декабрьским утром я наконец вырвался из Нью-Йорка, оставив в неряшливом одиночестве опостылевшие апартаменты под крышей огромного билдинга и переместив свой скромный, но увесистый багаж на борт трансатлантического гиганта «Морро Касл», отбывающего на Багамы.

Накануне отъезда мой советник и личный секретарь жестом карточного шулера метнул на письменный стол веер ярких бумажек: билет компании «Роял Каррибиан» в одноместную каюту первого класса, глянцевого буклет, представляющий породистый профиль и анфас океанского богатыря с подробным описанием его умопомрачительного внутреннего содержания, а также вырезанную из «Нью-Йорк таймс» статью. Автор статьи «Звезды в океане» с ажиотажным захлебом перечислял звучные имена тех, кто оказал честь своим присутствием блестящему во всех отношениях экваториальному лайнеру.

Если три-четыре года назад возможность лицезреть на борту шейхов, кинозвезд, биржевых воротил, промышленных магнатов и прочих ВИП-персон могла заметно поднять мой жизненный тонус, а отсутствие собственного имени в списках бомонда его же снизить, то теперь все обстояло наоборот. Я стал достаточно состоятелен и знаменит, чтобы утолить покладистое тщеславие без допинга громких знакомств, и слишком озабочен своей собственной проблемой, именуемой «творческим кризисом», чтобы не заподозрить иронии в приклеенном газетчиком к моему писательскому имени определению «плодовитый».

Темно-коричневый кофр, погруженный на борт «Морро Касл», хранил три варианта рукописи моего двадцатого романа, процесс создания которого явно зашел в тупик.

Запершись в комфортабельной каюте, я решил ограничить общение с внешним миром вылазками в тихий ресторан и моционом к ближайшему бару. Отрадно было вообразить, лежа с томиком ненавязчиво-гениального Монтеня, что метрах в четырех над моей головой лопочет, улыбается камерам нарядная, благоухающая толпа с удельным весом в пол знаменитого лица на один квадратный фут.

Капитан судна объявил в первый же вечер плавания «Бал величайших знакомств» с ведением телерепортажа для «Светской хроники». Не вставая с кровати, я мог наблюдать за порханием одухотворенного тележурналиста, вещавшего то из корабельной кухни, изобилующей живописными развалами всевозможной снеди, то из радиорубки с задумчиво-сосредоточенными офицерами, то из самой гущи бальной тусовки – из ее яркого оранжерейного букета, в котором не было ни одного заурядного экземпляра.

Мелькали обнаженные плечи, сияющие улыбки, чернокожий дирижер с зажатой тройным лоснящимся подбородком нежно-розовой бабочкой представил оркестр, готовый исполнить любой шлягер по заказу всякого размахтавшегося гостя. С широким зевком я выключил телевизор и натянул на голову одеяло. Из отдаления, как сквозь вечерний провинциальный парк, доносилась ретроспектива хитов от Синатры до Мадонны. Я мысленно пробежал списки собравшихся в зале, пытаюсь вычислить заказчиков отдельных мелодий и приманить осторожно подступающий сон.

Было уже около полуночи, когда в дверь постучали и кто-то назвал мое имя. Велюровые халаты и шелковые пижамы – не моя слабость. Но даже то, что я успел натянуть мятую джинсовую рубашку, оказалось весьма кстати, поскольку в коридоре стояла незнакомая дама.

– Можно войти? – Не дожидаясь ответа, она быстро захлопнула за собой дверь и припала к ней с видимым облегчением. Посетительница – в длинном черном плаще, усеянном искрящимися водяными брызгами, с тяжелой спортивной сумкой на плече – выглядела так, словно явилась с дождливой улицы.

– Присаживайтесь, мисс... – предложил я, придвигая гостье пухлое кресло, и воровским движением прикрыл голые ноги пледом.

– Пришлось пробежать по верхней палубе. Кажется, собирается шторм. – Откинув длинные мокрые пряди, она шагнула в световой круг и протянула руку: – Меня зовут А. Б.

Да я уже и сам видел, что это была она! Человеку, пробывшему в Штатах хотя бы неделю, легче было бы не узнать президента, чем эту девушку. Ее присутствие на экранах, рекламных щитах, журнальных обложках стало столь же привычным, как дорожные указатели на автобанах. И все же привыкнуть к ее лицу было невозможно. Даже такая – не «отредактированная» усилиями визажистов и кутюрье, в дождевой россыпи на взлохмаченных волосах, с размывами туши под строгими глазами – она была неправдоподобно хороша.

– Вас трудно не узнать. Очень приятно, мисс А.! – Вслед за гостьей я сел, засунув под кресло босые ступни.

– Мне тоже известно, кто вы. Добрый вечер, господин N.! Не буду скрывать – я заплатила приличную сумму за информацию о вас. В качестве компенсации затрат хочу попросить об одной услуге – принять в дар мое личное досье. Подлинное, разумеется.

Она сюрпризно улыбнулась. В сочетании с чистейшим русским языком последних фраз эффект получился фантастический. Как я, так и А. Б. считались коренными американцами.

– Мне нужна ваша помощь. Прошу вас о благодеянии или о подвиге – не знаю... Возможно, это щедрый дар, а может – «приглашение на казнь». Боюсь, мне не удастся толком объяснить. Слишком мало времени... Вы позволите?

Я подскочил, чтобы снять с нее мокрый плащ и явить взору снежное кружево очень простого, очень открытого длинного вечернего платья.

– Не успела переодеться – удрала прямо с бала. Завтра растрезвонят: «А. Б. исчезла, подобно Золушке, в самый разгар веселья!» Мне было необходимо уликнуть незамеченной.

– Это столь опасное свидание? – глубоким бархатным баритоном осведомился я.

– Полагаю, да... Никто ни при каких обстоятельствах не должен узнать о нем, прежде чем вы не выполните моей просьбы... Я не вправе просить, а тем более настаивать, но, пожалуйста, верьте мне! Все, о чем шумит сейчас пресса, – гнусная ложь.

– М-м-м... – неуверенно отреагировал я, отчасти знакомый с версиями гремевших вокруг ее имени скандалов. Во всех вариантах домыслы относительно А. Б. и в самом деле звучали более чем странно.

Она подняла на меня молящие глаза и пододвинула к моим ногам тяжелую сумку:

– Верьте всему, что прочитаете в этих бумагах. Каким бы невероятным вам все это ни показалось.

– Вы прекрасны. Наверно, этого достаточно, чтобы совершать ради вас безрассудства, стать героем или преступником. Найдется немало людей, готовых отдать очень многое за ваше досье независимо от его достоверности. Но почему вы пришли ко мне? Я что – самый проницательный, покладистый или наиболее доверчивый? – Мне не хотелось выглядеть простаком, клонувшим на блесну.

– Все проще и намного сложнее: вы – свой! Случайно я кое-что узнала о вас еще там, в России. Потом прочла несколько ваших книг и купила сведения, которые вы предпочитаете не разглашать. Доказательство – язык, на котором мы сейчас говорим, и мои бумаги. Из них вы поймете, что наша встреча далеко не случайна. Только вы, вы один можете сделать это!

А. Б. вдруг вскочила и замерла у двери, к чему-то прислушиваясь.

– Пожалуйста, тише! – Она по-детски приложила палец к прекрасным губам и встала на цыпочки. – Слышите? – Засиявшие глаза показали на потолок.

Сверху, из затухающего бального гомона, медленно потянулись завитки первых вальсовых тактов.

– «Сказки венского леса» – я заказала специально для вас. Но не потому, что вы написали «Трех Штраусов». Это в честь того, что вам предстоит еще сделать... Если по какой-то причине моя просьба покажется невыполнимой, утопите бумаги в океане – мне они больше не понадобятся.

А. Б. посмотрела на меня долгим, печальным и, мне показалось, насмешливым взглядом. Я готов был поклясться, что всегда знал и любил этот взгляд. Прежде чем я успел покинуть кресло, А. Б. исчезла, подхватив шуршащий палой листвою плащ. Сверху гремел, добывая мою растерянность, окрепший, ликующий вальс, у босой ноги бездомным щенком приткнулась чужая сумка, в воздухе парил аромат «Агреjiо» – как раз тех духов, которые я давно научился распознавать, как опытный коп дактилоскопию своего любимого преступника.

До жидкого рассвета, с любопытством прильнувшего к иллюминатору, я разбирал исписанные листы, стихи, фотографии, письма, газетные вырезки, обрывки дневников и прочую бумажную мелочь, забивающую обычно ящики старых письменных столов. Меня влекло не любопытство, не принятое вместе с чужой сумкой обязательство, не смутная перспектива хорошего заработка. Увы. Это было сладкое смирение обреченности. Медленно и неотвратно, с тревожным недоумением человека, окликнутого по имени на безлюдной горной вершине, я погружался в фантастический мир, неуловимо и тесно соприкасавшийся с моим собственным...

Когда часы пробили семь, я воровато покинул свое убежище, волоча по лестнице темно-коричневый кофр.

На палубе, в липком, въедливом тумане, я вскрыл толстобрюхий чемодан и широким жестом сеятеля стал кидать за борт тяжелые папки. Проводив последним взглядом свои уходящие под воду рукописи, вернулся в каюту и набил кофр содержимым дарованной сумки. А потом лежал, сверля недоуменным взглядом притихший потолок и размышляя, как случилось со мной – завзятым изобретателем невероятных банальностей – банальнейшая из литературных «случайностей»: я стал владельцем грандиозного, сногшибательного и невероятно живописного сюжета?!

В ближайшем порту «плодовитый писатель» покинул «Морро Касл» и первым же рейсом вылетел в ту страну, куда вел след новых знакомств. Поколесив по Европе, осел в маленьком городке на австро-словацкой границе. А через год мне наконец удалось сделать то, что ждала от меня А. Б., – выпустить в свет гигантский роман, прослеживающий в клубке переплетенных судеб невероятную историю молодой женщины.

За это время до меня дошла кое-какая чрезвычайно интригующая информация: я узнал, что незабвенное лицо моей героини исчезло с поверхности бытийной шелухи, что кое-кто из ее окружения совершил кое-какие поступки, подлинный смысл которых мог быть понятен только посвященному. Или же непонятен вовсе – никому и никогда. Что чем добросовестнее старался я восстановить детали этой невероятно запутанной истории, тем больше нагнали поначалу робкие и худосочные сомнения. Завершив труд, я блуждал в потемках и даже под страхом смертной казни не мог бы утверждать, что из достояния роковой сумки было подлинным и не являлись ли фрагменты, тронувшие сентиментальную душу старого писаки отчаянной правдивостью, всего лишь ловкой подделкой, а отдельные части истории, если даже не вся она, – изящной мистификацией.

Измученный сомнениями, я отправился путешествовать, а вернувшись в Нью-Йорк, нашел среди прочей корреспонденции изрядно поплутавшую посылку. Под луковичными

слоями бумаг, утончавшихся к сердцевине, оказалась крошечная сандаловая шкатулка, а в ней кольцо с крупным прозрачным камнем неувовимо-переливчатого цвета, которое я сразу же узнал. Приложенная записка не отличалась многословием: «Благодарю и поздравляю! Вы, конечно, узнали этот перстень с александритом и наконец-то поняли все. Его переменчивая игра – цвет неувовимой истины, которой попросту не существует в мире железобетонной определенности. Это, пожалуй, единственная правда, за которую может поручиться смертный и которую вы помогли мне понять».

Подписи не было, да она и не требовалась, ведь я уже знал все, что еще предстоит узнать вам.

Глава 1 Алиса

1

1968-й, 23 декабря. На электронном табло миланского аэропорта высочила цифра «23.45». Оставалось всего сутки до Рождества и пятнадцать минут до конца смены. Сержант отдела по борьбе с наркотиками Луиджи Вискони с тоской посмотрел на толпу пассажиров, направлявшихся от дверей прибытия к стойкам таможенного контроля. По лицам, одежде и громкой речи, доносившейся уже издали, Луиджи понял, что это наконец прибыл гамбургский рейс, сильно задержавшийся еще при взлете. Он посмотрел через зал на Франческу, машинально поправившую свой синий беретик с золотой эмблемой таможенной службы и занявшуюся документами вновь прибывших.

Альма, крупная восточноевропейская овчарка Луиджи, специально натренированная на поиск контрабандных наркотиков, слегка дернула поводок, заметив выплывающие на ленте транспортера из багажного отделения чемоданы. В ожидании сигнала, собака тихо поскуливала, кося на хозяина умным карим глазом. Сумки, пакеты, чемоданы двигались прямо на них толстой, извивающейся змеей, и Луиджи машинально отпустил поводок. Легко запрыгнув на спину «змеи», Альма пошла вспять движения конвейера, аккуратно переступая лапами и обшаривая внимательным носом прибывшие в Милан вещи. Выслеживая добычу с присущим ей рвением, собака на этот раз старалась напрасно: последний рейс в дежурстве Луиджи не обещал находки, даже новичок знал, что поступление наркотиков из Германии – дело маловероятное. После всей сегодняшней толчеи, затеянной метеорологами и спутавшей все рейсы, после неразберихи с багажом и нашествия каких-то подозрительных ливанских беженцев, сержант наконец-то мог расслабиться. Исподтишка оглядывая публику, подтягивающуюся за своими вещами, Луиджи оценивал впечатление, производимое работой его собаки. Обычно в толпе оказывалось немало людей, приходивших в восторг от этого аттракциона и кое-кто даже пытался бросить Альме съестное, которым она, естественно, пренебрегала.

Боковым зрением Луиджи заметил парочку из тех расплодившихся в последнее время бродяжек, которые стаями собирались на площадях города. Нечесанные пряди длинных волос перехвачены на лбу замусоленным ремешком, длинные пончо висят балахоном – не разберешь, где парень, где девка. Тот, что повыше, держал в руках холщовую торбу, расшитую какими-то восточными иероглифами, а низенькая, помеченная Луиджи условно как «девушка», выглядывала из-за спины своего спутника с растерянностью туземца, столкнувшегося с цивилизацией.

К конвейеру подошла женщина, давно примеченная сержантом. Она уже больше часа ожидала свой рейс, и можно было легко догадаться, что именно 375-й, парижский, взлет которого несколько раз отменяли по причине погодных условий: дело шло к Рождеству, а над Европой буйствовал очередной циклон. Задержки в расписании собрали в зале аэропорта непривычно много людей, тоскливо поглядывающих на табло, но Луиджи выбрал именно эту даму для тренировки профессиональной наблюдательности и лирических размышлений. На нее было приятно смотреть и интересно фантазировать.

В том, как «парижанка» сидела, забросив ногу на ногу, как рассеянно листала журнал и нетерпеливо ходила по залу, останавливаясь в задумчивости то у стеклянной стены, выходящей на взлетное поле, то у газетного прилавка, – чувствовался особый шарм. Во всяком

случае, именно так представлял себе истинных французов бывший ломбардский пастух. Длинный бежевый плащ незнакомки, подбитый каким-то мягким рыжеватым мехом, был распахнут, волосы того же золотистого тона собраны на затылке в пучок, на плече большая сумка-кисет на длинном ремешке, из которой женщина доставала то журнал, то портмоне, то билет, то мягкие светлые перчатки. Лицо «парижанки» выглядело именно так, чтобы вызвать в воображении Луиджи образ элегантного большого дома, светящегося высокими окнами сквозь припорошенный снегом кустарник, с камином и огромной ванной – в матово-шоколадном мраморе, зеркалах и сиянии никеля – ну точь в точь, как на рекламе шампуня, идущей по телику.

«Интересно, кто ждет ее в Париже? Наверное, уже битый час нервничает, мечется в Орли, измучив вопросами служащую справочной, солидный господин с темными усиками, властным взглядом и ключами от новой модели „ситроена“ в кармане пальто из верблюжьей шерсти».

Теперь женщина стояла совсем близко от Луиджи, с интересом наблюдая, как скользит влажный нос Альмы в дюйме от поверхности чемоданов. «Да она совсем молоденькая и не такая уж таинственная», – подумал полицейский, когда светлые глаза незнакомки встретились с его изучающим взглядом. Она не отвела взгляд, а приветливо улыбнулась, изобразив восхищение и как бы благодаря его кивком за работу умницы собаки. Луиджи ответил тем самым белозубым сиянием от уха до уха, которое, как итальянский сувенир, увозят в своей памяти из солнечной страны впечатлительные туристки.

Последним, что видел парень, было приветливое лицо «парижанки» и взмах чьей-то руки за ее спиной, бросившей в гущу толпы холщовую сумку с иероглифами. Нестерпимый грохот врезался в барабанные перепонки, огонь ослепил. Вставший на дыбы, разъяренный на части мир смял и отбросил Луиджи. На часовом табло выскочила и надолго застыла цифра «24.00»...

Потом был сущий ад – визги, крики, панический ужас людей, метнувшихся к выходу, давя и калеча друг друга. Гарь, дым, чья-то кровь и начищенный мужской ботинок с частью ноги в полосатом носке, отброшенный прямо к таможенной стойке.

Франческа пришла в себя, уже вызывая по телефону помощь, – она и не заметила, как подняла трубку и набрала номер. Кто-то барабанил в служебные двери, кто-то прорвался за турникет, выбежав на взлетное поле, толстая негритянка тянула ее за локоть, истерично вопя и царапая кожу ногтями.

Как в замедленном фильме, девушка увидела осколки стекла, покрывавшие столик с альбомом, распахнутым на фотографии миловидного юноши с трогательной ямкой на подбородке, и капли крови, падающей на этот подбородок откуда-то сверху. Она почувствовала теплую струйку, стекающую по шее за белый воротничок форменной блузки, и провела рукой по лицу – на щеке было липко и горячо, но боли она не почувствовала.

Только много позже, когда завывли сирены, появились полицейские и врачи, бегущие к пострадавшим с носилками, Франческа увидела то, что осталось от багажного отделения. Алюминиевые стойки, искореженные и почерневшие, плыли в голубоватом едком дыму над хаосом взломанного гранита, скрученного металла, осколков стекла, груды вещей и тел, среди которой белели халаты санитаров.

Прямо на каменных плитах, среди бегущих, суetyающихся ног, сидел Луиджи, держа на коленях голову своей собаки. Он смотрел куда-то сквозь спины светло и радостно, с тем надземным невозмутимым спокойствием, которое отличает безумцев. Лицо и руки Луиджи, глядящего мертвую Альму, были в крови. Он не реагировал на крики подоспевшего сменщика, трясушего его за плечи, и не обратил никакого внимания, когда мимо проплыли носилки, волочащие по липкому от крови щебню край подбитого светлым мехом плаща...

В приемном отделении больницы «Сан-Педро Милано», куда поступали пострадавшие от взрыва в аэропорту, служащий приемного отделения регистрировал раненых. Из сумочки женщины, находящейся без сознания в связи с обширными ранениями головы, был извлечен билет до Парижа на рейс 375 и документы. Мужчина, взглянув на исчезающие в дверях «скорой помощи» носилки, не удержался от вздоха.

– Алиса Грави, француженка, тысяча девятьсот тридцать пятого года рождения, – продиктовал он пишущей медсестре. – Может, это и не ее паспорт. Во всяком случае, женщина на этой фотографии, была прехорошенькой.

2

«Мордашка у девчушки ангельская, вот характер мог бы быть и лучше», – констатировал учитель Бертье, в сердцах захлопнув альбом с успеваемостью. Сидящая перед ним женщина опустила глаза. Она не знала, защищать ли сейчас перед этим опытным и, наверное, справедливым педагогом свою внучку или поддержать его, сетуя на личные трудности в воспитании. Тогда Александра Сергеевна Меньшова промолчала, но вот уже много лет вспоминала характеристику, данную Алисе совершенно чужим человеком.

Александра Сергеевна приехала во Францию весной 1917 года с мужем и восьмилетней дочерью Елизаветой, няней, горничной и гувернанткой, чтобы провести лето в только что отстроенном в парижском предместье Шемони доме. Ее родители, принадлежавшие к кругу российской аристократии, имели крупное состояние, частично вложенное во французские предприятия братом Александром – Георгием.

Жорж, француз по матери, унаследовав ее фамильное дарование и дело, стал преуспевающим фабрикантом-обувщиком, имеющим право с гордостью смотреть на ноги своих сограждан: в том, что по крайней мере каждая пятая пара обуви на них отличалась элегантностью и комфортом, была и его заслуга.

После событий 1905 года Жорж Меньшов-Неви, считавший себя весьма прозорливым, как в области бизнеса, так и в политике, настоял на строительстве дома для своей московской сестры, куда и выманил ее со всем семейством, якобы погостить, наладить связи, в самый канун революционных событий.

Визит Александры Сергеевны затягивался, ее муж – Григорий Петрович, кадет, – не считал возможным, мягко говоря, заняться обувным производством в столь ответственный для России исторический момент. Верный своему гражданскому долгу, он возвратился в Москву, откуда и посылал жене длинные сумбурные телеграммы, умоляя переждать смуту месяц-другой в новом комфортабельном доме. В утешение жене в Париж был послан огромный багаж, собранный из любимых вещей Александры в ее родной подмосковной усадьбе.

Эти несколько телеграмм, полученных от Григория Петровича, и три деревянных ящика с гербами российской железной дороги, содержащие любимые книги, бабушкин секретер, сервизы, подушечки, вышитые Александрой еще в девичество, абажуры, картины и даже баночки со «своим» клубничным вареньем, составили, собственно, все то, за что многие годы цеплялась память Александры о родине и муже.

След Григория Петровича оборвался в 1918 году под Ростовом, где его видели якобы в штабе Добровольческой армии. Официально он считался пропавшим без вести, а следовательно, всеми молитвами и надеждами, – живым. И только весной двадцатого Александра Сергеевна узнала, что ждать больше некого.

Шестого марта, в десятилетний юбилей Елизаветы, к обеду ждали гостей. На лестнице пахло пирогами, особыми, российскими, с капустой и грибами, которые с ночи затевала Веруся, в комнатах стояли охапки свежих фиалок, принесенных из сада, где на лиловых от цветов газонах готовились игры для приглашенных детей.

Александра Сергеевна с утра ждала чего-то необычного, потому что в глубине души была суеверна и толковала на свой особый лад всякие маленькие знаки, которые подавала ей судьба.

Рождение долгожданной, вымоленной дочери Лизоньки всегда отмечалось в семье лавиной взаимных сюрпризов, подготавливаемых втайне заранее, трогательными и наивными знаками внимания. В этот день подарки доставались всем, включая прислугу, что с увлечением обсуждалось супругами заранее. Так, Верусе, заботящейся о гардеробе

малышки, была преподнесена однажды новенькая модель швейной машинки «Singer», а Фомичу, наблюдавшему за состоянием сада, – тяжелый полевой бинокль.

К семилетию Лизоньки, в первый праздник, отмеченный в новом парижском доме, и последний свой, как оказалось, семейный юбилей, Григорий Петрович подарил жене перстень с александритом – семейную реликвию, идущую от бабушки. Этот подарок он предполагал преподнести к десятому дню рождения дочери, как было установлено традицией, но почему-то заторопился. Александра Сергеевна колебалась, но, приняв как аргумент шутку мужа, что Лизонька уже и за тринадцатилетнюю сойдет, подарок взяла. А когда через год перстень загадочно исчез, просто как в воду канул, потянув за собой серию невосполнимых утрат, она спохватилась и, сопоставив все – потерю семейной реликвии, России и мужа, – пошла причаститься, заказав молебен за здоровье близких.

3

И вот 6 марта 1920 года первое, что увидела, проснувшись Александра, был лиловый александритовый глаз, следящий за ней с мраморной доски туалетного столика. Перстень вернулся, благополучно пролежав более двух лет в фиалковой клумбе, где и был найден рано поутру Верусей, набиравшей для комнат цветы.

То, что они, обыскав и перевернув тогда весь дом и сад, так и не нашли потерю, сиявшую в центре на самой ближней, всеми сто раз осмотренной клумбе, свидетельствовало о непростом, совсем непростом смысле внезапной находки.

Надев впервые за это время светлое, веселое платье, оживленная счастливым предчувствием Александра, ждала продолжения чуда.

Поздно вечером, когда гости с детьми уже разъехались, счастливая Лизонька уснула, не отпуская руль нового двухколесного велосипеда, когда прислуга, гремевшая посудой на кухне, уже затихла, а Александра, так и не переодевшись и лишь накинув на платье жакет, сидела в саду на своей любимой скамейке, явился-таки визитер.

Он был худ, небрит, высок, с устало обвисшими полами некогда серебристой шинели. Эта неизбалованная жизнью шинель была именно того особого сукна и покроя, той особой степени мучительного старения, за которыми здесь, в Париже, угадывали трудную анкету российского белоэмигранта.

А под двухнедельной щетиной, под чужим, затертым до дыр мундиром и заношенным бельем оказался Сашенька Зуев – Шурка! Немного позже, отмытый в горячей ванне и облаченный в костюм Григория Петровича, он сидел перед Александрой, доедая Верусины пирожки и деликатесы с праздничного стола.

Мать Александры и ее закадычная подруга – смолянка Анна Зуева, соседка по Подмоскovie, – обнаружили свою беременность почти одновременно. Они вместе вынашивали тяжелевшие животы, мечтали о детях и чуть ли не одновременно, с разницей в три дня, разрешились от бремени, назвав новорожденных, как и было условлено, Александрями.

Дети, объявленные с пеленок женихом и невестой, росли практически вместе, чувствуя себя родней и друзьями, а повзрослев, стали не мужем и женой, а друзьями, почти братом и сестрой, очень привязанными и близкими друг другу. Александра Сергеевна так всегда и называла Шурку – «мой московский брат», в отличие от Жоржа – «французского».

Полгода назад она получила от Саши Зуева письмо из Константинополя, но ответить не смогла – ни адреса, ни планов на дальнейшую жизнь Зуев не сообщил.

В тот вечер, 6 марта, судьба вернула Александре брата, но сделала ее вдовой: Саша рассказал ей, опуская жестокие подробности, как был расстрелян ее муж и как спасся сам, спрятанный от красногвардейцев своей невестой и исчезнувший навсегда из ее жизни за жестяными крышами тамбовских флигелей.

Зуев не остался у Александры: превратиться в благополучного буржуа он просто не мог – так ныла и металась, тоскуя по потерянной родине душа. Сославшись на некие обязательства перед соотечественниками, он уехал в Берлин, пообещав регулярно навещать Александру. Шурка ушел, отказавшись даже обновить гардероб, – в чужом мундире, залатанном и отутюженном Верусей, уложив в небольшой дорожный чемодан Григория свою памятную шинель.

– Ничего, Сашенция, ведь зачем-то это все с нами случилось. Я должен понять, и если разберусь и оправдаю себя – обязательно выживу, – обещал он сестре.

Заехал Зуев к Меньшовой только в 32-м с женой – немецкой герцогиней, подоспев прямо к Лизонькиной свадьбе.

Елизавета Меньшова, с отличием окончила престижную частную школу и, будучи хорошенькой жизнерадостной певуньей, к тому же очаровательно танцующей по босоногой методе Айседоры Дункан, быстро вышла замуж, причем весьма удачно. Ее муж – Алекс Грави, состоящий адвокатом на семейном обувном предприятии, обладал всеми необходимыми достоинствами, необходимыми для счастливого супружества, – был добродушен, заботлив и щедр. Этот крупный энергичный мужчина, считавший себя закоренелым холостяком вплоть до того момента, пока в возрасте тридцати семи лет не влюбился как мальчишка в восемнадцатилетнюю племянницу своего шефа и компаньона. Женившись, он буквально носил свою молоденькую жену на руках. Вначале – по семейным апартаментам тещи, а затем – по собственной квартире в центре Парижа. А когда в мае тридцать третьего Елизавета родила ему дочь Алису, открыл счет на имя малютки, должный достичь к ее совершеннолетию приличной цифры. Казалось, в этой молодой семье, уверенно смотрящей в будущее, благополучие было запрограммировано на несколько поколений вперед. Именно так комментировала светская хроника фотографию крестин наследницы Грави-Меньшовых.

Французенку Алису, соединившую в своем имени имена любящих родителей, окрестили по православному обряду как Елизавету в маленькой русской церкви, утопавшей в эти дни в розовом тумане цветущих миндальных деревьев.

В доме молодое семейство встречала Веруся – старуха цыганка, прирученная полвека назад еще Александрой в воспитательных целях, да так и оставшаяся при Меньшовой – то ли компаньонкой, то ли нянькой. Теперь «наша ведьмочка», как называли Верусю в доме, преданно служила Елизавете, считая себя членом семьи.

– Ну вот, Ведьмочка, у тебя, считай, правнучка, – протянула счастливая Елизавета старухе орущий пакет из розовых лент и кружев. – Смотри, какая прелесть – красавицей и умницей будет расти. И обязательно – необыкновенно талантливой... Пианистка? Или художница... Что там тебе твой цыганский нюх подсказывает?

Старуха жалостливо погладила одеяльце смуглой морщинистой рукой.

– Ох, девонька ты моя, – вздохнула она, отводя слезящиеся глаза. – Уж больно много хочешь – чтобы рыжики да косой косить. Вон и у родительницы твоей и у тебя в доме счастье из году в год пасется. Кабы ему, непоседе, не прискучило.

Теперь, осмысливая судьбу взрослой дочери, Елизавета Григорьевна вспоминала это пророчество старой няньки, обвиняя себя в своем женском благополучии и в том, что истратила, по всей видимости, все везение на себя, оставив Алисе глоток на донышке.

4

Алиса росла упрямым и скрытным ребенком. В ней не было той беззаботной игровой жизнерадостности, того оживления, которое дает детям любящая семья. «Да, девочка необычная», – думал каждый, встречая этого не по возрасту задумчивого и картинно-прелестного дитя. Такие лица с лучащимся недетским взглядом, с тщательно выписанным изяществом черт и обилием живописных кудрей изображали в нравоучительных детских книжках в конце прошлого века, когда речь шла о смиренных сиротках и богобоязненных крошках, собирающих милостыню на хлеб умирающей маменьки. И точно так выглядели в этих книжках скорбящие ангелы.

Но тихая Алиса не была смиренницей, проявляя недюжинную волю всякий раз, когда дело касалось ее убеждений. Уж откуда брались эти убеждения по поводу всего, что окружало девочку дома, в школе, на улице, – неизвестно. Но в отстаивании их она была бескомпромиссна. Алиса имела собственное мнение, как по поводу режима дня, туалетов, меню, так и по отношению к методике школьного преподавания, воспитательной работы классных дам и даже непосредственно к стилю работы Департамента образования. В своих требованиях она была непреклонна, отмачиваясь по нескольку дней. Единственным человеком, умевшим подступить к девочке в такие моменты, была бабушка – Александра Сергеевна. Бабушку Алиса никогда не обижала и только с ней вступала в тайный заговор против враждебного окружения.

В детской душе боролись, не давая покоя, два извечных спутника взросления – чувство долга, требующее бескомпромиссности, и чувство жалости, вызывающее к прощению и снисходительности. Победила жалость. Алиса сделала своим главным принципом терпимость к чужим недостаткам.

Подростком Алиса была по существу уже взрослым, проделавшим большую внутреннюю работу по самовоспитанию человеком. Человеком, на которого можно положиться, имеющим четкие представления о добре и зле и умеющим отстаивать свои принципы. Когда восемнадцатилетняя Алиса привела в дом своего ровесника араба-сироту, он, дрожащий как затравленный зверек, не знал, что был за этой барышней как за каменной стеной.

Алиса же не подозревала, что «подобрала» Филиппа точно таким же образом, как в конце прошлого века «нашла» девчонку-цыганку ее московская бабушка – в городской жандармерии.

Одним прелестным солнечным днем в начале лета, рассматривая книги на лотке букиниста, в толкучке «блошиного рынка», Алиса услышала за спиной вопли:

– Держите, держите этого черножопого! Он стащил кошелек у той нарядной дамочки!

«Дамочкой» оказалась она, а ее кошелек был изъят из-за пазухи парня, удерживаемого под руки двумя полицейскими. Челюсти вора были крепко сжаты, так что на скулах под оливковой кожей ходили желваки, огромные глаза смотрели исподлобья с такой физически осязаемой ненавистью, что Алиса отпрянула, как от удара: на нее никто никогда еще так не смотрел. В участке девушка, боясь взглянуть на обвиняемого, взяла его на поруки и даже уплатила штраф, прежде чем офицер, записавший ее данные, наконец освободил арестованного:

– Ну, пока гуляй, парень. И смотри – больше нам не попадайся. Благодарю мадемуазель Грави, а не меня. Будь моя воля, я бы вас всех, чернозадых, на дух к Парижу не подпустил. Весь город загадили.

Алиса и ее протеже опрометью устремились к дверям и уже у выхода на улицу чуть не столкнулись. Парень остановился, пропуская ее вперед, но дверь, как полагается, не придержал – тяжело громыхнув, она захлопнулась, прищемив подол Алисиного платья. Девушка

в сердцах рванула тонкий крепдешин и, увидав краем глаза появившуюся вслед за ней на ступенях фигуру, бросила на асфальт кошелек.

– Забирай свою добычу, ворюга проклятый, – крикнула она и быстро зашагала прочь, не обращая внимания на летящие за ней по ветру шелковые обрывки.

Негодование Алисы было так велико, что она не заметила, как оказалась в сквере и, присев на скамейку, попыталась привести в порядок порванную юбку. Ее лицо горело, а дрожащие пальцы не могли отыскать в сумке припрятанную булавку. На деревянное сиденье рядом лег ее кошелек.

– Возьми. Мне не надо. Там все деньги – я не брал, – сказал парень, уже отойдя на пару шагов.

Алиса вскочила, отпрянув от кошелька, как от гремучей змеи, хотела сказать что-то обидное, но не нашлась, резко повернулась и гордо пошла прочь.

Она вновь увидела парня уже на подступах к своему дому. Он выглядывал из-за угла и, заметив, что обнаружен, сжался, напомнив сразу затравленного зверька. Парень держал кошелек в вытянутой руке и не знал, броситься ли ему наутек или все же осмелиться подойти. Его черные глаза смотрели с собачьей преданностью, ловящей малейшее движение хозяина. Сходство было настолько явным, что Алиса чуть не рассмеялась. Но постаралась говорить строго:

– Чего тебе надо, бандит? Прибить меня хочешь? У меня больше ничего нет – гляди! – Она вывернула на асфальт свою сумочку. Зазвенели ключи, разлетелись какие-то бумажки, билетки, и она нагнулась за ними, уже понимая, что никакой он не бандит и тем более не убийца.

– Возьми. – Парень снова протянул ей кошелек и подобранную записку. – Я не вор. Я сделал это первый раз.

– Уж это-то заметно – ловкостью тебе не похвастаться. Вор-неудачник. Фи! – Алиса фыркнула и, не взглянув на протянутые вещи, решительно пошла прочь.

На следующее утро, когда Алиса уже оделась, чтобы уйти на занятия художественной школы, которую настойчиво посещала в течение двух лет, Веруся доложила:

– Тебя там какой-то цыганенок дожидается. Думала уже – вдруг мой внучок-правнучек забытый-потерянный. Нет – за кустами прячется, выйти остерегается, мадемуазель Грави требует.

Алиса спустилась вниз и, осторожно выглянув из-за ограды, увидела своего «грабителя», сидящего на корточках, прислонившись спиной к стволу каштана. Она сразу узнала его. Но только теперь разглядела, что парень был совсем молод и очень красив. Сейчас, когда страх и унижение не искажали его черты, он был похож на восточного принца, вздумавшего принять участие в маскараде. Даже тряпье, заношенное до крайности, выглядело на его литом бронзовом теле изысканно-экстравагантно. Бывшая когда-то голубой рубаха едва прикрывала живот, а в решетчатые дыры на светлом холсте штанин выглядывали отполированные до блеска колени. Рядом с босыми ступнями парня лежал газетный пакет. Голова, упирившаяся в ствол дерева, была запрокинута, открывая утреннему солнцу и любопытному взгляду Алисы точеное узкое лицо с разлетом прямых бровей, тонким горбатым носом и нежными губами таких редких изящных очертаний, которые Алиса уже год училась переносить на бумагу со скульптур юных греческих богов. Казалось, парень дремал, опершись локтями на колени и прикрыв глаза.

«Вот бы так и нарисовать его! – ахнула в Алисе жадная ко всему необычному художница. – С этими расслабленно упавшими изящными кистями рук, с розоватыми ладонями, с этими густыми черными прядями и загадочными ресницами. Прямо спящий шейх из арабских сказок».

А парень, прокараулив здесь под каштаном всю ночь, и не думал спать. Он боялся пошевелинуться, спугнуть видение: сквозь завесу опущенных ресниц светился тонкий девичий силуэт в дымке чего-то воздушно-белого, с золотым сиянием вьющихся волос и большущей папкой на длинном шнуре, покачивающейся у тонких щиколоток. Волна жасминно-розовых ароматов, плывших из сада под лучами солнца, окутывала эту картину подарочной упаковкой, возвращая Филиппу вкус давно утраченного счастья.

5

Еще пять лет назад он был Азхаром Бонисандром – старшим сыном иранского ученого-правоведа, гибким тринадцатилетним подростком, бесстрашно объезжавшим арабских скакунов на внушительных просторах фамильного поместья под Тегераном.

Его отец Хасан Бонисандр провел юность в Париже, работая в Сорбонне над докторской диссертацией об аграрной реформе в Иране. В те годы, когда в стране поднялась волна исламского фундаментализма, враждебная прозападным настроениям, он часто шутил:

– Боюсь закончить диссертацию и потерять единственный повод для жительства во Франции.

Но в тридцатые годы, после вступления на престол основоположника династии Пехлеви Реза-шаха, ученый вернулся на родину, чтобы занять важный пост в новом правительстве, обосновав теорию исламской экономики.

В северо-восточном пригороде Тегерана в окрестностях шахского дворца «Ниаваран», у самого подножия Эльбруса, в огромном доме, сочетающем элементы традиционной восточной архитектуры с современным европейским комфортом, родился и вырос Азхар. Огромный сад с теннисным кортом и маленьким зверинцем, с бассейнами и фонтанами, сверкающий лимузин с шофером были привычными составляющими того солнечного, сказочно-изобильного мира, который с детства окружал мальчика. Здесь была мать – с ласковым голосом, окутанная благоухающими легкими покрывалами, запах которых с мучительной болью возникал в памяти Азхара в годы последующего сиротства. Был Учитель – наставник, всегда находящийся рядом с того момента, как ребенок начал осознавать окружающее. От него усвоил Азхар основы ислама и мужского кодекса чести, научился обращаться с оружием и подчиняться своей воле горячих скакунов. Учитель сопровождал Азхара в баню и занимался его туалетом, под его же руководством совершал ученик регулярные экскурсии в мировую историю, знакомился с культурой и искусством. В распоряжении Азхара была обширная домашняя библиотека на арабском и двух европейских языках, использование которой происходило под регулярным контролем отца и Учителя.

Образование мальчика было возложено на приходящих учителей высокой квалификации, а знакомство с внешним миром ограничивалось выездами на объекты культурно-исторического значения и даже иногда на спортивные соревнования. Исключение составляла мечеть: ритуально-обрядовая сторона религии была частью повседневной жизни Азхара, столь же привычной и неотъемлемой, как дом и родные.

Юноша, выросший в предельно европеизированной для тех лет исламской семье, получил закрытое специфически восточное воспитание не тяготясь ограничениями. Он чувствовал себя вполне свободным в выборе занятий – советник шаха по экономике доктор Хасан Бонисандр отличался широтой кругозора и намерением воспитать своего старшего сына достойным идеологическим наследником. Табу налагалось лишь на общение с женщинами и политику, правда, отсутствие этих возможностей тринадцатилетнего Азхара нисколько не тяготило.

Однажды душной августовской ночью мальчик был разбужен Учителем, напоен каким-то странным отваром и выведен по темному саду через дальний выход к притаившемуся в кустах автомобилю. Огня в эту ночь не зажигали ни в доме, ни в парке и даже фары незнакомой машины были погашены. Сонный Азхар запомнил лишь приглушенные голоса, стрекот цикад в лимонных зарослях и тревожное мелькание безликих теней.

В маленьком самолете, стартовавшем с затерянной в песчаных дюнах площадки, мальчик уснул, а открыв глаза, обнаружил, что уже день. За окнами маленькой незнакомой комнаты с выцветшими цветастыми обоями звучал чужой голос.

Город оказался Парижем, квартира в верхнем этаже старого неухоженного дома принадлежала «дедушке Мишелю», а сам Азхар стал его внучатым племянником Филиппом, о чем свидетельствовали оставленные Учителем документы.

Азхар-Филипп видел Учителя в последний раз в тот день в незнакомой комнате, в углу которой рядом с черным бубнящим по-французски репродуктором сидел сухощавый старик в какой-то женской обвисшей вязаной кофте. Старик поглаживал свернувшуюся на коленях полосатую кошку и молчал, пока Учитель, до боли сжав плечи еще не пришедшего в себя мальчика, что-то быстро и веско говорил ему по-арабски. Много раз потом Филипп пытался вспомнить эти слова, но в памяти всплывали лишь обрывки фраз, повторяемые Учителем веско, как заклинание: «Власть захватили враги, они преследуют твою семью. Ты должен забыть на время свое прошлое, ты должен во всем слушаться Мишеля, ты должен выжить и повзрослеть, а потом – отомстить. Ты должен ждать...» Еще Филипп знал, что были произнесены страшные слова: «белые убийцы», пугавшие с детства любого восточного человека. Всякий знал, что за этим названием древнего вездесущего союза убийц стоит глухая тайна, всемогущая власть и нечеловеческая жестокость.

В чем состояла роль «белых убийц» в трагедии его семьи, мальчик не знал, но постоянные кошмары, начавшие его преследовать по ночам с того самого дня, приобрели навязчивый характер – убийца-зомби настигал свою жертву за всеми дверями и запорами.

Дедушка Мишель – старый юрист, когда-то опекавший в Сорбонне отца Азхара, а ныне одинокий вдовец, живущий на скромную пенсию, получил из Тегерана банковский счет, который должен был использовать на образование и воспитание мальчика.

В течение четырех лет новоиспеченный Филипп посещал частную школу, приспосабливаясь к иной жизни, и после трудного первого года, переболев своим прошлым, довольно быстро преуспел: в его французском почти исчез акцент, в поведении – отстраненная замкнутость. Старик был потрясен, застав как-то своего «внука» на футбольной площадке гоняющим мяч в компании горластых длинновязых французских сверстников.

Жизнь этого странного трио – старика, облезлой кошки Зизи и арабского юноши – уже как-то наладилась, когда Мишель получил анонимный конверт и сразу понял, откуда пришла весточка. В письме назначалась встреча на железнодорожной станции парижского предместья, куда он должен был прибыть вместе со своим «внуком». Осторожный юрист сжег письмо в газовой духовке, а Филиппу ничего не сообщил. Не успел.

Ночной кошмар настиг Азхара в виде дедушки Мишеля, сидящего в своем скрипучем кресле-качалке с перерезанным от уха до уха горлом. На подоконнике рядом с истекающей молоком перевернутой бутылкой застыла Зизи, глядя на хозяина неподвижными всезнающими глазами. Дверь в квартиру была не заперта. Запечатлев в одно мгновение открывшуюся ему картину кровавого смертного покоя, Филипп бесшумно выскользнул на улицу как был – в кедах, со спортивной сумкой на плече – и сгинул в чреве вечернего переполненного метро. Благодаря чему, по-видимому, и спасся.

Все это он рассказал Алисе в то же утро, когда, вернув украденный кошелек, поплелся за девушкой к автобусной остановке по спокойным, ухоженным улочкам Шамони.

Но Алиса в этот раз на занятия не поехала. Резко свернув в переулок, ведущий к окраине, бросила своему спутнику:

– Пойдем!

Они молча вышли к каким-то безлюдным складам. Усевшись на толстое сосновое бревно, предусмотрительно прикрытое рисовальной папкой, девушка приняла позу терпеливо-внимательного присяжного заседателя.

– А теперь рассказывай все. И помни – я тебе не полицейский участковый – лапшу на уши не вешать. И не расистка – твой цвет кожи меня ничуть не смущает.

Повествование Филиппа, конечно же, мало походило на правду. Но придумывать такое за какие-то гроши, лежащие в ее кошельке, было нерезонно. Убеждала последняя часть рассказа – те три месяца жизни, которые беглец провел на «дне», среди парижских босяков, сразу же обчистивших наивного арабчонка дочиста, а потом, когда расплачиваться за ночлег ему было уже нечем, приказавшим: «Укради!»

Задавая каверзные вопросы по ходу дела, типа меню на тегеранской вилле, адреса и чина «дедушки» Мишеля, цитат из корана и названия парижских ресторанов, Алиса пришла к выводу, что легенда парня правдива. Слегка задумавшись, она постановила:

– Пока ты поживешь у нас, а потом что-нибудь придумаем. Есть же, в конце концов, какие-то дипломатические каналы...

6

Так в семье Меньшовых-Грави появился Филипп. Его формально определили садовником в загородном доме Александры Сергеевны, ожидая, что этот авантюрист чем-то выдаст себя, расколется, и тогда уж несдобровать доверчивой, упрямо отстоявшей своего нового приятеля Алисе. Но все произошло ровно наоборот: на праздничном семейном приеме в честь семидесятилетия отца сияющая, повзрослевшая Алиса представила всем присутствующим Филиппа как своего жениха.

В гостиной меньшовского дома на рю Коперник собралось по меньшей мере около сотни гостей, среди которых были друзья из эмигрантских кругов, деловые партнеры юбиляра, старинные знакомые и новые знаменитости, всплывшие в этот сезон на волне культурно-интеллектуальной популярности писателя, художники и даже известный шоумен, заправляющий делами от Лидо до Фоли Бержера. Он был грациозен, выдавая сразу же балетное прошлое, оживлен и неизменно носил крохотную красную гвоздику в петлице, что толковали и как пародию на розетку Почетного легиона, и как подтверждение то ли прокоммунистических, то ли гомосексуальных наклонностей шоумена. Звонкий фальцет Валери, слышный из любой части зала, склонял все же к достоверности последней версии.

У рояля сидел, легонько выписывая затейливый рисунок грустного армянского напева, модный шансонье, с печальными глазами Арлекина на маленьком обезьяноподобном лице.

Появление Филиппа на сцене этой семейно-официозной идиллии было обставлено Алисой с артистическим вкусом к театральным эффектам. Она выбрала именно тот момент, когда наступил переход от торжественной части вечера к свободной расслабленности, когда гости, покинув столовую, разбились на вольно беседующие группы, а освещение было сведено к режиму «интим». Лишь потрескивающий камин и шеренги свеч в канделябрах освещали зал.

Алиса подошла к роялю и что-то шепнула пианисту – мелодия ушла в русло едва журчащего рiано. Девушка хлопнула в ладоши, привлекая внимание, и, почувствовав, что стоит в центре вопросительной тишины, торжественно объявила:

– Дорогие бабушка, мама, папа, дорогие друзья! Маленький сюрприз. Я хочу представить вам моего друга, гостя из далекой страны.

Она вывела в круг любопытных взглядов статного юношу в безупречно сидящем черном смокинге. В том, как он двигался, как почтительно склонился к руке Алисы, искушенные взгляды сразу отметили породу. А когда гость выпрямился, обведя присутствующих гордыми, чуть насмешливыми восточными глазами, в комнате повисла шоковая тишина. Все сразу оценили пикантность ситуации: необычайная красота юноши, его раса и явно фиктивное имя в сочетании с подчеркнуто-значительной подачей Алисы представляли интригующую загадку.

«C'est manifiko», – прервал паузу Валери, направляясь к Филиппу с распахнутыми объятиями. В воздухе, как в опереточной массовке, пронеслась волна восторженного удивления. Как бы ни оценивали ситуацию присутствующие, столь прекрасную юную пару никому еще видеть не приходилось.

Они действительно были великолепны рядом, будто сделанные из разного материала мастерами, состязавшимися в своем искусстве, контрастные и взаимодополняющие эталонные образцы разных пород. Особый эффект свечения, электродуги, возникающей между двумя полюсами, не оставлял сомнения в силе притяжения этих двоих. Даже те, кто знал Алису с детства и отмечал каждую встречу с ней возгласом: «Вот красавица-то растет!» – не могли представить, сколь мощный эффект может дать этот высококачественный физический «сосуд», наполненный горючей смесью влюбленности и отваги.

Вдохновение звездного мгновения жизни, фонтанирующая энергия любви превратили эту красивую девушку в редкое явление природы: в эту минуту она была ослепительна. «Мсье Филипп – мой жених!» – Алиса вспыхнула и, воинственно вздернув подбородок, ожидала взрывного эффекта.

И гром грянул. По-детски всхлипнув, лишилась сознания Елизавета Григорьевна. С рассыпчатым звоном брызнули на паркете осколки выпавшего из ее рук бокала. Кто-то кинулся за водой, кто-то звал доктора, грохнула, всполошив струнное нутро, задетая кем-то крышка рояля. Суэта и смятение скомкали живописную композицию, а те, кто читал Достоевского, воочию убедились, что великий писатель не преувеличивал: размах даже полурусской «семейной сцены» превосходил принятые французские образцы.

Александра Сергеевна отвесила внучке звонкую пощечину:

– Ты хоть мать-то предупредила бы, прежде чем общество скандализировать!

Она королевской поступью покинула гостиную, а юная преступница, рухнув на колени, разрыдалась у ног отпоенной валерианой маменьки.

– Неплохо, неплохо... – оценил мизансцену шоумен Валери, глядя вслед неудачливому жениху и отхлебывая глоток крымского шампанского.

7

Конечно же, для семейства Меньшовых-Грави разразившийся скандал не был неожиданностью – он лишь разрядил напряжение, нагнетавшееся в последние месяцы. На протяжении лета шла упорная борьба волею, а когда аргументы были исчерпаны, просьбы и заклинания проигнорированы, маман и папа поставили вопрос ребром: если дочь сама не в состоянии понять, в какую дурную историю она попала, не видать ей ни родительской поддержки, ни самих родителей. Бунтарка, сосланная в дом бабушки, уехавшей подлечиться в Швейцарию, поселилась рядом со своим подозрительным подопечным, которого ни изгнать, ни держать на расстоянии от девушки не удалось. И неудивительно.

Алиса была влюблена впервые в жизни с тем свойственным ей размахом и глубиной чувств, с тем романтически-жестоким азартом русской девицы, которые, сама того не ведая, пестовала в своей душе под гипнотическим воздействием русской литературы.

Благодаря этим увесистым, потемневшим томам, роман полуфранцузенки с арабом, разворачивающийся на фоне Парижа 50-х годов, культивирующего поверхностность и небрежную легкость во всем – от одежды до семейных отношений, был чисто российским, усадебным, вдохновленным ностальгией по масштабности и роковой драматичности чувств.

Уже целый год Алиса зачитывалась Буниным, открывая в себе бездну русскости, похожести со всеми его одержимыми любовью героинями, отыскивая в своем иноземном быту частицы иного, подлинно своего бытия.

Ей нравилось русское слово «попынь», представлявшее вместе с горьким привкусом серебристого жесткого стебля бескрайний простор российских степей, пересеченных ухабистыми пыльными трактами. А как-то, когда бабушка поднесла к ее носу крупное зеленоватое яблоко, оно стало русским, самым любимым, со смешным именем «антоновка», навсегда запечатлевшим для Алисы особенный осенне-снежный аромат. Хотя, по-видимому, это была вовсе и не настоящая антоновка, а какой-то похожий местный сорт, принесенный Верусей с ближнего рынка, Алиса зарылась лицом в корзину с яблоками, мечтая о невероятной, огромной любви.

Филипп был именно тем персонажем, который явился если и не из литературного русского прошлого, то и не из французской бомондной современности с ее бодро-спортивной, но уже с пеленок пресыщенной и скучающей молодежью. Эта залетная, не от мира сего, заморская птаха, чудом вспорхнула в распахнутое настезь окно девической души, переполошив все вокруг.

Молчаливый юноша с неземной печалью в огромных, будто созерцающих нечто потустороннее глазах, был значителен своим загадочно-романтическим прошлым, своим рискованным настоящим, ежеминутным бытием затравленного зверя, подлежащего уничтожению. Его экзотическая и совершенная красота свидетельствовала о принадлежности к миру вымысла, к творениям эстетизированного вне бытового искусства. Алиса лишь подхватила идею, поданную судьбой, – стала не только исполнителем, но и творцом любовного сюжета, создавая особую, вынесенную за скобки реальности, атмосферу.

Этот странный роман разворачивался в декорациях русского усадебного быта, сохранившихся усилиями Александры Сергеевны под боком французской столицы и теперь увлеченно обживаемых Алисой.

В конце сада, спускавшегося к небольшому пруду, остался маленький уголок, который предписывалось сохранять в первозданной дикости: не стричь, не косить, не обустройства. Здесь, за глухой стеной сарая, отгораживающего владения Меньшовых от соседней территории, среди старых лип стояла срубленная потемневшая скамья и висели качели – обычная доска на толстых веревках, прикрученных к мощным горизонтальным веткам. Види-

мый с этого места кусочек берега, заросший ивняком и осокой, кусты сирени, скрывающие забор, создавали иллюзию обширности владений, уединенной печали российского захолустья. Надо было просто не замечать южной броскости красок, аккуратной ухоженности мизерных садилов, напиравших со всех сторон, не слышать клаксонных взвизгов соседского автомобиля и верить, что стриженные кроны чужого парка за зеркалом озера являются началом могучего, заросшего ореховым подлеском дубняка.

Надо было верить в свой вымысел, и Алисе это удавалось без труда. Ведь скрип качелей был таким настоящим, провинциальным, бунинским, а взлетающая доска скользила над белыми венчиками сныти – сочного исконно русского сорняка, сплошь покрывающего в июне поляны и косогоры России. А к стволу старой яблони прислонился Он – ее герой с граблями в руках, в вылинявшей, выпущенной поверх брюк косоворотке Захара, провожая неотрывным взглядом взлетающие к полуденной синеве оборки пестрого подола. Его заморские глаза сияли открытым восхищением восточного мужчины, обмирающего перед женской прелестью.

Алиса воссияла в центре вселенной юноши с того самого момента, когда появилась в калитке у своего дома в сопровождении цветочных ароматов, в сквозящей солнцем легонькой юбке, туманным маревом обволакивающей длинные стройные ноги. Она лишь пристально посмотрела из-под золотистых ресниц, и, щелкнув, затикали в груди Филиппа особые часы, начав отсчет его новой жизни.

Специалист, по-видимому, обнаружил бы некую деформацию психики молодого человека, пережившего тяжелые потрясения. Но сам он не ощущал себя единой личностью, не подозревая аномалии. Он был арабским юношей, старшим мужчиной рода, воином и мстителем, вынашивающим идею возмездия. Он был учеником парижской гимназии, доброжелательным и восприимчивым, успешно обживающим и мансарду дедушки Мишеля, и саму версию своего европейского бытия.

Теперь же, с Алисой, Филипп стал абсолютным Возлюбленным, без прошлого, будущего и без всякой примеси иных мыслей и чувств в своем фантастическом настоящем, кроме любви и счастья. И когда Алиса однажды сказала ему по-русски «мой милый», он почувствовал, что всегда знал значение этих мягких голосовых переливов, так же как и светлую девушку, ставшую смыслом его существования.

Он допускал лишь одну возможность любить, причем именно здесь и так, как это случилось: на зачарованном островке неведомого океана чужого, не имевшего к нему никакого отношения мира. Куски жизни Филиппа, как обрывки разных кинолент в мусорной корзине монтажной, не могли соединиться в единый сюжет, существуя обособленно. Время, начавшее отсчет с появлением Алисы, принадлежало только ей и означало безумие. Сладкое безумие Единственной Любви, манящее и пугающее смертных.

Веруся – единственная наперсница Алисы – смотрела на влюбленных с горестным предчувствием.

– Хорош-то он, хорош, басурман чертов. Да откуда на нашу голову выискался... Боюсь я, Лиса, боюсь. Не по-людски как-то, не правильно, – качала она головой, отводя взгляд. Поднять глаза старая цыганка опасалась – столько темного страха металось в ее душе. Веруся предчувствовала беду, но помочь не могла, не зная даже, за кого молиться, как назвать иноверца, да и можно ли.

– Ничего, ничего, старушка, – успокаивала няню Алиса. – Пушкин тоже араб был, а Натали – первая красавица. Вот увидишь – все замечательно устроится! Мы так невероятно счастливы!

В сущности, придумывая варианты будущего, Алиса уговаривала сама себя: найдется семья Азхара, обеспечив ему какую-либо дипломатическую должность, ее отец сжалится и похлопочет в Министерстве иностранных дел или произойдет что-нибудь еще. Не важно –

у сказок всегда счастливый конец. Она не хотела замечать, что, погружаясь в гипнотический омут этого колдовского лета, все больше удаляется от реальности.

Ведь маленький сеновал был таким настоящим, колким и ароматным, были темные вишни на тонких, пружинистых ветках, прохладная библиотека с любимыми книгами, которые можно было читать для Филиппа вслух, и дурман ситцевой спальни, в распахнутом окне которой на пестрой от движущихся солнечных бликов кисее дремали сытые, краснобрюхие комары.

Аромат политого из лейки укропа, выросшего-таки на клумбе, хилого, с длинными голенастыми метелками, свидетельствовал о реальности дивного летнего покоя. А ее Миленький, совсем не умеющий спать, всегда был рядом. Когда бы ни проснулась Алиса – в ночной черноте или в акварельной рассветной зелени, – его преданные, восторженные глаза смотрели на нее. Неподвижное изваяние восточного божества с тускло мерцающим серебряным медальоном на груди – подарком Алисы...

Не долго длилось «усадебное» лето влюбленных. За скандалом, разразившимся на юбилейном банкете, последовал ультиматум со стороны родителей: немедленное возвращение дочери домой и предоставление судьбы авантюриста компетентным службам.

Алиса предполагала подобный ход и готовила контрудар – на следующее же утро Александра Сергеевна, возвратившаяся домой, обнаружила пустые комнаты и плачущую, упустившую беглецов Верусю: поздно ночью Алиса с Филиппом покинули свой заколдованный островок.

8

Они поселились в дешевой маленькой квартирке на самом верху шестиэтажного дома. За широким окном, в разошедшейся, облезлой раме, виднелось нагромождение крыш, покрытых крашеной жестью или черепицей – старой потемневшей и поновее – почти оранжевой. Чужие балкончики и мансарды с цветочными ящиками, в которых еще вовсю цвела розово-алая кустистая герань, чужие окна, принаряженные кокетливым оборчатый тюлем или небрежно задернутые выгоревшими шторами, жили своей особой жизнью, которую Алиса с интересом наблюдала.

Вскоре она уже узнавала свои любимые окна, наливавшиеся вечерами малиновым или апельсиновым светом от уютных абажуров, свои приглянувшиеся балкончики, на одном из которых, почти визави, в солнечные дни колченогая инвалидка вывешивала клетку с попугайчиками.

С Филиппом же здесь творилось что-то неладное. Он метался, как загнанный зверь по длинной узкой комнате, и казалось, что стоит только приоткрыть дверь, и зверь вырвется, умчится в тот край их короткого счастья, где у пруда покачиваются под палой листвой пустые качели...

Все чаще Алиса видела в мерцании его сумрачных глаз тайный страх. Наверное, поэтому она так и не решилась рассказать ему правду об одном странном звонке в конце сентября, в самом конце теплого сентября. Телефон в квартире беглецов бездействовал, так что о нем практически забыли. Черный, с несвежей, уже затягивающейся грязью выщербленной у ступенчатого основания, он обиженно помалкивал среди каких-то старых журналов и растрепанных книг, небрежно и тесно засунутых на этажерку в процессе весьма прилизительной уборки. Когда ненужный аппарат вдруг подал голос, его надсадное верещание было столь злобным, что Алиса опасливо подняла трубку. Мягкий баритон с едва заметным акцентом вкрадчиво назвал ее имя:

– Мадемуазель Грави? Прошу прощения за беспокойство. Только крайняя необходимость заставила меня побеспокоить вас, вернее, обратиться за помощью. Речь идет о моем друге Азхаре Бонисандре, известном вам, скорее всего, под именем Филипп. Я имею для него сообщение чрезвычайной важности. Если бы мадемуазель подсказала мне, где я могу найти Азхара... Повторяю, речь идет о жизненно важном деле... – Голос звучал взволнованно, все сильнее обнаруживая округлый, как арабская буква, акцент.

«Учитель!» – подумала Алиса и быстро позвала, протягивая трубку к двери: – Филипп! Филипп!

В пыльно-плюшевом проеме занавесей появилась бронзовая отливка классического героя в обычной черной футболке с большой разливной ложкой в руке. В последние дни Филипп находил странное забвение в приготовлении экзотических блюд с участием малосъедобных, но вполне доступных по цене продуктов – каких-то тухлявых корней, пахнущих болотной гнилью, орехов в зеленой пробковой скорлупе, бобов, которые он покупал на воскресном рынке у своих соотечественников, употребляя мелодичные труднопроизносимые названия.

Он слегка притормозил на пороге, заметив, как медленно умирает радость на ее лице: будто двигали рычаг реостата и свет бледнел, обещая неминуемую темноту. Алиса быстро опустила на рычаги трубку и тихо выдохнула:

– Ошибка. Кто-то спутал номер.

Ложь родилась сама собой, уродливый недоносок, которого теперь предстояло вынырнуть. Она услышала абсолютно четко щелчок отбоя и короткие гудки – связь не прервалась,

кто-то, позвавший Азхара, не захотел говорить с ним! А может – не смог? Алиса не решилась рассказать Филиппу о странно замолчавшей телефонной трубке.

Через два дня она проснулась чуть свет от барабанной дробы дождевых струй, падающих из обрубка водосточной трубы прямо на жестяной карниз, сонно огляделась и вмиг вскочила, не обнаружив, как обычно, недремлющего Филиппа. В центре его смятой подушки, лениво шевеля клешнями, расположился крупный лаково-черный жук. Алиса бросилась искать Филиппа, но и в крошечной ванной, и на кухне, и даже на лестничной клетке было абсолютно пусто. Уже порядком испугавшись, она обнаружила записку, подsunутую за раму мутноватого трюмо: «Меня позвал Учитель. Жди». Но и к вечеру Филипп не появился. Телефон упорно молчал. Боясь согнать так и не двинувшегося с места жука, она осталась на диване, не зажигая свет и даже не вспомнив о еде. Она старалась ни о чем не думать, и лишь почему-то очень жалела, что не успела сообщить Филиппу, все время откладывая, о своей теперь уже явной беременности. Темнота сгущалась, черное пятно на подушке, от которого Алиса не могла отвести взгляд, росло, растекалось, заливая неубранную постель липким мраком.

Было уже совсем светло, когда Алису разбудил требовательный резкий звонок. В туманной дымке над сонными, еще сырыми от дождя крышами поднималось солнце. Незнакомый мужской голос, не назвавшись, сказал несколько слов, и прежде, чем она что-то сообщила, в трубке послышались гудки. «Читайте утренний выпуск „Обсервера“» – прогнуса-вил неизвестный.

Алиса бросилась вниз, к старику лоточнику на ближнем углу, распаковывающему стопы свежих газет. Подагрические пальцы в грязных митенках невозможно долго копались в бумажной кипе и наконец вытащили необходимый Алисе номер.

– Для такого сырого утра мадемуазель довольно легко одета, – подмигнул старик ранней покупательнице и вернулся к своему занятию, мурлыча какую-то польку. Но тут же застыл: с жадностью голодного туземца девушка принялась потрошить пухлый номер, роняя на мокрый булыжник измятые хрустящие листы, и вдруг замерла, покрываясь гипсовой бледностью.

Развернув раздел «происшествий», Алиса несколько раз перечитала короткий текст и окаменела, как человек, раненный в сердце, но еще не понявший, что уже мертв. А когда поняла – рухнула на колени, стиснув ладонями виски, – так громко и ужасен был вырвавшийся из ее горла вой.

«Тело неизвестного юноши восточного происхождения найдено на путях пригородной электрички. На шее убитого – серебряный медальон, на груди – свежевытравленное клеймо, знак тайного общества арабского Востока. Инспектор криминальной полиции Клемон, ведущий расследование, отказался комментировать происшествие».

9

Под потолком комнаты, где проходило опознание, потрескивала, мигая, неисправная неоновая лампа. Санитар откинул простыню с головы покойника.

– Да, это он.

Алиса не закричала, не разрыдалась, на ее помертвевшем лице застыло каменное спокойствие. Заметив это, искушенный в подобных ситуациях санитар потянулся за флакончиком нашатыря, но вопреки его расчетам девушка не потеряла сознание, не повисла без сил на руках поддерживающего ее за локоть инспектора.

– Я могу быть свободна? – обратилась она к присутствующим все с тем же шоковым безразличием и, получив утвердительный ответ, покинула помещение.

«Э, да тут, видно, не так все просто. По крайней мере, роковая страсть эту парочку не связывала», – смекнул инспектор Клемон, поставив в блокноте вопросительный знак против имени мадемуазель Грави.

Как же ошибался опытный полицейский! В тот момент, когда Алиса увидела на простыне мертвое лицо своего возлюбленного, приговор, который она готовила своей судьбе, был оглашен. Не столько горе и погибшая любовь, сколько уязвленная гордыня подсказала ей это решение: она оказались заурядностью, а следовательно, подлежала уничтожению.

В той или иной степени всякому человеку дано ощущение своей единственности, особых отношений с покровительствующими силами судьбы – Богом, Роком, Космосом или чем-то иным, возвышающимся в его сознании над земным бытием. Тайно веря в свое избранничество, он рассчитывает на любовь и поддержку свыше, со стороны того, кто сильнее и мудрее, кто в конечном счете отвечает за все, что происходит с его подопечным.

Ощущение высшего покровительства, веры в свою звезду, свое особое счастье сопровождало Алису с рождения. Достаточно было девочке лишь посмотреть в глаза близких или случайных встречных, чтобы уловить то выражение восторга или зависти, которые появляются у людей при соприкосновении с чужим везением. Чувство избранничества наделяло силой Алису, помогая легко преодолевать препятствия, питало ее милосердие и доброжелательность.

То, что произошло с Филиппом, уничтожило привилегии избранницы судьбы: ею пренебрегли, вычеркнули из списка любимцев. Кто-то где-то сатанински смеялся сейчас над ней, доказав, что она – всего лишь заурядность, мразь, ничтожество, числящееся в общем строю и подчиняющееся тем же законам, что и грязная уличная проститутка.

Ее не только провели, лишив любви, подаренной с такой сказочной щедростью, но и «подставили», сделав убийцей своего счастья. О, этот таинственный телефонный голос «друга», эти суетливые интонации и ее поспешная, глупая радость! Она сама выдала Филиппа, открыв его убежище, и она же, правдивая до дерзости, проницательная, чуткая Алиса, так и не решилась рассказать любимому о звонке, став соучастницей врага. Непоправимость допущенной ошибки, бессилие перед необратимостью случившегося и невозможность мести сводили ее с ума.

Она не умерла на месте от невыносимой боли, как втайне была уверена там, на мостовой, у газетного прилавка, раздавленная грузом чрезмерного, непосильного отчаяния. Она просто окаменела.

Лицо мертвого Филиппа показалось Алисе очень маленьким и темным. В синеватой тени глазниц лежали длинные ресницы, казавшиеся фальшивыми и столь же неуместными, как у оперной Кармен, умирающей в полной красе с ножом в груди. Кровь от ссадины на лбу запеклась, подклеив черный крутой завиток, на горбинке носа белел гордый хрящик,

туго обтянутый бескровной кожей. Под левой ключицей чернел загадочный шестигранник, выжженный раскаленным металлом. А губы... Боль в груди Алисы была настолько сильной, что она не смогла ни потерять сознание, ни заплакать.

«Конец, конец, конец!» – Алиса слышала торжественный хохот. «Вот тебе, гордячка, получай!» Это был не удар, это был плевок в лицо. «Ну что же, значит – решено». Она чуть ли не улыбалась, предвкушая уготованное мщение.

Она знала, что никогда не смирится ни с предательством высших сил, ни с собственной роковой ошибкой.

У себя в мансарде, распахнув окно в осеннюю прохладу, приговоренная оглядела Париж радостно и вольно, будто вернувшись из дальнего путешествия. Затем надела любимое белое платье, вытащила из волос шпильки, сняла с шеи крестик и кинула все это, уже ненужное, на стол. Усевшись на подоконник, Алиса с острой прощальной любовью рассматривала знакомую и уже совсем чужую жизнь, ощущая всем телом прикосновение свежего ветерка, смешавшего в пряном коктейле запах палой листвы из ближнего сквера, аромат петунии, задиравшей свои пестрые головы на балконе нижнего этажа, с дымком жареной макрели из чьей-то готовящейся к ужину кухни. Она оглядывала нагромождение черепичных крыш, балкончики, трубы с жестяными флюгерами, окошки, имеющие, как и люди, свои особые лица. Пестрые детские штанишки трепетали на веревке, красный мяч застрял между прутьев нижнего балкона и... Жадно вслушиваясь в детские голоса, смутно доносившиеся из раскрытого окна, в дальний перезвон трамваев, суетливые автомобильные гудки, Алиса думала о том, что никогда уже не случится.

Здесь, внизу, в этом городе, оставалась не востребованной огромная часть ее жизни, причитающаяся по праву вереница лет с вылазками в весенний прозрачный и звонкий лес, с бархатной оперной ложей, сладко пахнущей дорогой пудрой, любовными свиданиями и цветными пеленками, с этими скучными милыми семейными торжествами, толстокожей «антоновкой», любимыми книгами и недописанными картинами. Жизнь, от которой она отрекалась...

Инвалидка в доме визави, вышедшая на балкон покормить попугайчиков, загляделась на четкий белый силуэт девушки, сидящей в верхнем окне. Колени, подтянутые к подбородку, обтягивал белый искристый шелк вечернего платья, на ветру трепетали длинные золотые пряди. «Вот, вырядилась, ждет кого-то, наверное того здорового малого, что каждый вечер подкатывает к дому на гремучем мотоцикле», – думала женщина, тяжело опустившись на табурет. Вот оно – счастье. Рядом – рукой подать! Боже, почему только мне, старой больной карге, дано понять цену чужого сокровища? Ведь она там у себя, легкая, прелестная, в самом начале долгого еще расцвета и не знает, как фантастически богата! И точно – вот умчалась как сумасшедшая, хлопнула рамой, чуть стекла не посыпались. Наверное, кофе у нее сбежал, и теперь она будет дуться весь вечер. Боже! Мне бы хоть день, хоть час такой силы, такой красоты, хоть один час на всю мою гадкую, жалкую жизнь...»

Алиса решительно захлопнула окно, проверив шпингалеты, окинула взглядом комнату, выглядевшую настороженно притихшей, заткнула в шкаф халат, смятое полотенце и, вытащив из рисовальной папки чистый, хрустнувший от нетерпения лист, написала углем: «Я сама так решила. Поймите и простите. Не печальтесь, мне хорошо, Алиса». Не мысль о родных, а стержень уголька, последний раз прикасавшийся к бумаге по воле ее ловких пальцев, рванулся в душу с отчаянным воплем о пощаде, ударил в глаза ливнем слез. Но Алиса задумала жалость. «Я права, я сильная, я все решаю сама», – твердила она себе, отворачивая до отказа вентили плиты и слыша, как с шипением вырывается из конфорок газ.

Уже лежа на диване, она вытряхнула из флакончика на ладонь таблетки снотворного, проглотила и старательно запила водой.

– Это я, Алиса. Я так хочу! – заявила она вслух некоему предполагаемому «всевидящему оку», следящему сейчас за ней, наверное, с досадливым возмущением, своему мнимому «хозяину», которого удалось-таки переиграть.

Ощувив поступающую ватную слабость, Алиса накрыла ладонями живот. «Прости меня, маленький, незнакомый, – молила она своего не рожденного ребенка. – Прости, что умираю с тобою вместе. Вместе не страшно».

Месяц назад обнаружив свою беременность, Алиса ни разу еще не задумывалась серьезно о зародившейся в ней новой жизни. И лишь теперь, убивая ее, вдруг ощутила ослепительную вспышку любви, на которые способны редкие матери. Мысль о том, что она ошиблась, что совершила, жестоко обманутая, именно тот шаг, на который ее предательски подтолкнул этот хохочущий теперь, торжествующий Некто, была ошеломляюще-ужасной. Самой ужасной из всего, что могло бы прийти в уже затуманенное, уже неуловимо гаснущее сознание этой девятнадцатилетней женщины. Но, к счастью, она была последней, канув в черное бесконечное небытие...

13 мая 1954 года запомнилось многим жителям улицы Мрло. К дому № 4, завывая и подмигивая красно-синим огнем на крыше, подкатила полиция и «скорая помощь», а к дому № 5, что как раз напротив, – автобус телевидения и грузовик, из которого двое служащих в ярко-оранжевых комбинезонах вынесли под стрекот телекамер огромную тяжелую коробку: вдова-инвалидка Филиса Бурже только что выиграла в телевизионной игре шикарную стиральную машину.

Глава 2

Йохим-Готтлиб

1

То же весеннее солнце, что заливало теплом парижские улицы, наполняло пьянящим дурманом маленький австрийский городок на границе со Словакией.

Пологие холмы уходили к горизонту, подступая к гряде едва видимых в утреннем тумане Альп. На крутом берегу быстрой речушки, разделявшей городок надвое, возвышалась церковь, увенчанная золотым католическим крестом. Колокольный звон наполнял торжественными звуками улочки, утопающие в сиреневом цвету.

Тринадцатилетний подросток – худой и нескладный – поливал перед домом цветы под внимательным взглядом бабушки. Перетряхивая перины на веранде второго этажа, она не упускала из виду своего странноватого внука, и не зря: вот Йохим выпрямился и зеленая лейка повисла в его руке, щедро поливая тупоносые ботинки. Но он и не замечал этого. Тело подалось вперед, выдавая крайнее волнение, восторженные глаза устремились туда, где за пышной изгородью облетающего жасмина скрипнула калитка новых соседей.

Еще осенью дом через дорогу, самый нарядный в их части города, был продан, а потом заселен новыми владельцами. Всю зиму оттуда доносилось дребезжание молотков, колокольное уханье сбрасываемых с грузовика труб; рабочие в карнавально измалеванных робах таскали какие-то чаны, катали гулкие бочки, громко переключались, используя столь выразительные слова, что детям близлежащих коттеджей строго-настрого запрещалось даже приближаться к стройке. А в марте к дому, уже улыбавшемуся сквозь зеленеющие кусты нежным травяным ковром, подкатил толстобрюхий трейлер, с крылатыми буквами по серебристому боку: «Orants fransservis», из которого прямо на лужайку были выгружены замечательные вещи, доставленные не иначе как из какого-нибудь фамильного замка. Среди прочего, отличая на солнце металлическим блеском гигантского майского жука, возвышались доспехи очень крупного рыцаря и нежился под ветвями сирени огромный рояль, молочно глянцевого белизны.

А какое-то время спустя, помолодевший дом зажил своей удивительной жизнью: впускал и выпускал из ворот новенькую модель «оппель-капитана», сиял в сумерках высокими арочными окнами, источающими временами легкий аромат тихой музыки. Мелодии Шопена, смешиваясь с запахом жасмина, бурно вдруг зацветшего, проникали в сад Динстлеров, где в засаде томился Йохим – собиратель красоты, карауля чудное видение.

Увидев ее впервые, он застыл, словно громом пораженный, и большая жестяная лейка в его руках, порхавшая только что над цветочным бордюром, замерла, припав к кусту маргариток хоботками тугих искрящихся струек.

От особняка визави решительно двигалась крупная, крепдешиново-букетная дама, гордо неся голову с крохотной соломенной шляпкой на крутой перманентной волне. За руку она вела девочку лет двенадцати. Подошвы белых туфель не касались гравия, серебристый обруч послушно раскачивался на сказочно хрупком плече. Свежий зеленоватый воздух, с густо-масляным цветением тяжелых веток, с акварельными пятнами живых теней от них на песчаной дорожке, с пьянящим коктейлем запахов весеннего ясного утра, закружил вокруг маленькой фигурки резвым веселым щенком, заиграл с клешеным подолом балетного платья, открывая худенькие, жеребьячей легкости ноги. Стало ясно, что все эти декорации майского утра были подготовлены природой для выхода главной героини, для ее танцующих

белых туфелек и мимолетного вопросительного взмаха головы в ту сторону, где с тихим шелестом бежали струйки йохимовской лейки.

Два раза в неделю по утрам девочка с обручем в сопровождении дамы выходила из дому, отправляясь к своей неведомой цели. Это были минуты, которые наблюдавший из сада мальчик воспринимал как шараду, как головоломку, заданную к следующему уроку. Что за подсказку давала ему судьба этим явлением, о чем намекала?

2

Йохима-Готтлиба нельзя было назвать обыкновенным ребенком.

Уже в то время, когда сквозь общепринятую личину младенческой умиленности начала пробиваться спрятанная в ней бабочка личности, окружающие смутно почувствовали – с мальчиком что-то не ладится, что-то не так.

Собственно, окружение маленького Йохима-Готтлиба состояло из няни-подростка, взятой на время из соседней деревни, бабушки – молодой, ладной и скорой – и деда, ни интересом к земным заботам, ни любовью к младенцам не отличавшегося.

Его дочь Луиза забеременела почти девчонкой от солдатики-немца, проводя рождественскую неделю у тетки в Линце. До конца жизни она, как ни старалась, не могла вспомнить имя своего тогдашнего случайного любовника, оказавшегося первым, как и стакан шнапса, опрокинутый ею в колкий растрепанный стог под хохот веселой компании. Вспоминался лишь резко вдавленный назад подбородок, светлые близорукие глаза и большие руки с маслястыми худыми пальцами, заправлявшими за оттопыренные уши пружинистые дужки круглых совиных очков. Где этот мальчик, сгинул ли на воинских дорогах или, превратившись в краснолицего дебелого отца семейства, распаивает по весенней погожести свой кусок черноземного Фатерланда? Кто он, откуда и зачем вошел в ее судьбу в канун нового, 1942 года? Неужели для того лишь, чтобы обрюхатить единственную дочку австрийского священника, вот уже тридцать пять лет наставлявшего свою паству в духе католического благочестия?

После душераздирающей сцены признания с пощечиной и обмороком со стороны матери и театрально-выразительным проклятием, последовавшим от отца, Луиза была отправлена к тетке, а через год в доме Динстлеров появился младенец, якобы осиротевший племянник, а на деле – кровный внук, действительно, правда, осиротевший: Луиза уехала в поисках счастья на Американский континент, решив начать все заново. И орущий яйце-головый мальчонка, и родительский дом в тихом городке возле австро-словацкой границы остались где-то в другой жизни.

Новый член семьи Динстлеров неожиданно стал смыслом жизни бабушки, чуть было не свихнувшейся от горя утраты дочери. Крепкой шестнадцатилетней девицей из словацкой деревеньки, она была выдана замуж за вдовца священника, имевшего приход в австрийском городке. Большая разница в возрасте и тайный благоговейный страх перед саном мужа помешали Корнелии, как мечталось, нарожать кучу малюток. Теперь она, заполучив колыбельку, бдела над мальчиком денно и ночью, не ведая, по простоте душевной, что ее заботам поручено нечто большее, чем хрупкое тельце ребенка.

И все же, помимо состояния желудка и горла ее внука, эту простую женщину тревожило нечто иное, чему она не могла бы дать определения, какая-то смутная тревога, от которой хотелось поскорее избавиться.

Лишь много лет спустя одинокая старуха, бодрствующая в душном полумраке забитой старым хламом комнаты, с остротой запоздалого прозрения вновь и вновь будет смаковать необычность, которую так рано обнаружил ее мальчик и которая теперь многое объясняла.

Его детские фотографии, ломкие и слегка выцветшие, ничего льстящего тщеславию бабушки не предъявляли. Шестилетний «моряк», стоящий у игрушечного штурвала в павильоне местного фотографа, выглядел до обиды заурядно. Разве что слишком хмуро, не по-детски смотрели исподлобья его птичьи, близко поставленные глаза, выдавая неприятие наивной мистификации взрослых – ни новая матроска с золотящимися пуговками, будто взятая напрокат, ни роль мальчугана-забияки явно не подходили Йохиму. Беспомощную кривоватость ног, торчащих из-под коротких штанишек, не могли скрыть ни белые гольфы с

нарядными помпонами, ни усилия фотографа, собственноручно развернувшего ботиночки клиента, привычно расположившиеся носками вовнутрь, в более приличествующий ситуации ракурс. Оттопыренные уши подпирали большую бескозырку с блестящей надписью «Победитель морей», а по лицу, лишенному всякого детского обаяния, свойственного даже некрасивости, можно было сразу определить, что ребенок плакал, что набухший нос был раздраженно высморкан бабушкиным надушенным платком, высморкан больно и неловко, а улыбка, чересчур натужная, являлась результатом приказа.

Он не был уродлив, этот ошетинившийся малыш, он был именно таков, чтобы не замечать его присутствия в гостиной, а после вручения подарка и оглаживающего касания затылка, пробормотав: «Ну, а теперь ступай к себе, голубчик», не узнать при следующем визите. И все же, и все же...

Вот он, совсем еще кроха, не агукает, не сучит ножками, не колотит погремушкой, раззевая в улыбке беззубый рот, а смиренхонько лежит, упершись взглядом в противоположную стену, где не замечаемое вот уже двумя поколениями, висит нечто потемневшее и малопривлекательное. То ли оригинал, то ли масляная копия какого-то неведомого шедевра: у придорожного камня склонилась окутанная воздушным покрывалом женщина, очевидно Мария Магдалина, а сверху по каменистой тропинке, подняв правую руку в благословении, надземной походкой спускается к скорбящей грешнице мужчина. Иконописный лик, одеяние путника и светящийся ореол над темными кудрями позволяли опознать Всевышнего. Не вызывало сомнения, что младенец не просто созерцал, а вдумчиво рассматривал этот явно недоступный его пониманию живописный сюжет.

Немного повзрослев, лежа с очередной ангиной или жаром, как смиренно проглатывал Йохим горькую микстуру, предательски подмешанную к малиновому варенью, и как цепко ухватывали его почти прозрачные пальчики вознаграждение – пасхальное яйцо мандаринового стекла, ограненное десятками лучащихся многоугольников. Любимая игрушка тут же помещалась между глазом и миром, становясь мостиком, по которому детская душа устремлялась в неведомый, томящий ее поиск.

Дарителей всевозможных лошадок, сабель, заводных машинок и солдатиков неспроста удивляло отсутствие радостного блеска в глазах ребенка: все эти атрибуты мальчишеских игр его нисколько не интересовали. Любящая бабушка с тоской понимала, что мальчик, несмотря на все ее усилия придать здоровую полноценность его сиротскому детству – отпаивание козьим молоком, катание на санках, приглашение ватаги сверстников для совместных игр, – заметно отставал в развитии. Шумная ребяческая возня его пугала, и любой ребенок значительно меньшего возраста мог беспрепятственно завладеть под носом рассеянного владельца его мячом или даже трехколесным велосипедом.

Урожденной крестьянке, унаследовавшей открытую эмоциональность и крепкую хватку людей физического труда, было невдомек, что под внешней блеклостью и вялостью Йохима пульсирует, как муравейник под слоем палой листвы, мощная, своеобразная энергия.

В нем рано проявилась мечтательность, верней, умение переселяться в другую реальность, которую он для себя начал выдумывать с тех пор, как только ощутил себя элементом бытия и тут же почувствовал его, этого данного в ощущениях мира, недостаточность.

Очевидно, жажда гармонии и совершенства была заложена в душе Йохима изначально, по закону кармической вендетты, дойдя неоплаченным счетом от какого-то бывшего воплощения. Чем провинился перед Гармонией тот, канувший в Лету неведомый штрафник, как глумился и истреблял красоту? Может, это он в пылу горячей схватки саданул тяжелой секирой по каррарскому мрамору, предоставив возможным эстетам любоваться искалеченной богиней любви, или буйствовал в застенках инквизиции, похрустывая испанским

сапогом на голени черноглазой ведьмы? А может, хохотнув с матерком, рванул динамит под знаменитым российским Храмом? Неведомо.

Ясно только, что чувство личной ответственности за всякое нарушение гармонии томило Йохима-Готтлиба, предопределяло его преувеличенное представление о собственной физической некрасивости. Ребенок, еще не способный осознать, что почерк судьбы неизменен, пытался сгладить интуитивно ощущаемое несоответствие между худосочной тщедушностью своего тела и цветением летнего сада. Он украшал себя лентами от конфетных коробок, перьями и блестками, не помышляя даже, как предполагала бабушка, изображать индейца. Он просто хотел быть на равных со всем ошеломляюще совершенным порождением летней земли – от размашистых бойких кустов бузины, светящихся алыми гроздьями, до кружевных листьев петрушки, затейливо вырезанных чьими-то крошечными неземными ножницами. Цветы он не рвал, а если находил сломанные и увядающие, то торжественно захоранивал под кустами шиповника, позаботясь о надгробии из придорожного гравия. Странное занятие для мальчика.

Правда, он любил рисовать, но тоже как-то странно. Кипы листов, целые альбомы представляли собой черновики. Он напряженно водил карандашом, стараясь не упустить момент победы – мгновенного ощущения той самой, единственно прекрасной драгоценности – дивного лица, должного воссиять в самом центре девственно-белого пространства. Йохим охотился за тем, что было почти невозможно уловить, запечатлеть и тем более – пометить ярлыком. Он выслеживал Красоту.

Как только мальчик научился читать, а произошло это довольно поздно – годам к семи, зато быстро, без долгого штудирования азбуки, он, минуя начальный детский интерес к простейшим байкам и стишкам о зверюшках, сразу пристрастился к волшебным сказкам. Притихнув под оранжевой лампой, мальчик бесконечно перечитывал одни и те же истории мудрых сказочников – братьев Гримм, Гауфа, Андерсена, ожидал, что в словах откроется нечто новое, недосказанное раньше. Но самое главное, нужное ему, так и не прояснялось. Редко кто из сказочников удосуживался объяснить, что такое «невиданная красота», «прекрасная, как ясный день», отговариваясь общими определениями «такой и во всем свете не сыщешь» или «так хороша, что молва о ней разносилась по всему королевству». Более, чем противостояние Добра и Зла, Йохима волновало соперничество Совершенства и Уродства, завершавшееся поправлением последнего. Во всяком случае, именно сказки были для него единственным доказательством всеисилия Красоты, ее царственного могущества.

3

13 мая 1954 года тринадцатилетнему Йохиму Красота была явлена воочию, во плоти и крови, подкрепленная мощной оркестровкой сияющего вечернего утра. Он сразу узнал ее – ошибиться было невозможно.

Он ждал два года до того самого дня, пока в последнее воскресенье августа, в праздник Урожая, женский клуб «Сестры св. Марии» не устроил традиционную ярмарку с благотворительным базаром, пикником и танцевальным конкурсом. В парке, прямо на поляне, спускающейся к реке, были расставлены столы с угощениями и сладостями и дощатые прилавки, предлагавшие рукодельную продукцию городских умельцев, книги, домашнюю утварь. Белые скатерти трепал ветерок, у столов шныряли собаки, обнадеженные воцарившимся добродушием, аккордеон наигрывал полечки. Йохим, облаченный в свой первый взрослый костюм, помогал бабушке в распродаже духовной литературы. Особым спросом пользовалась тонкая книжка под названием «Твой Ангел-хранитель» с цветной картинкой на обложке: на краю обрыва беспечно резвились малютки, а златовласый Ангел распустил над ними гигантские лебединые крылья, заслоняя детей от губительной бездны.

К вечеру, когда солнце опустилось к холмам за рекой и в воздухе зазвенели комары, базар свернули. На радость гуляющей в ожидании конкурса и фейерверка публики, зашелся Венским вальсом специально готовившийся к этому случаю любительский оркестр. Йохим уединился в прибрежных зарослях, наблюдая, как набухает рубином и расплывается в розовом тумане огромный солнечный диск. Совсем рядом раздались крики детей, игравших в прятки. Йохим поспешил ретироваться, нырнув в кусты барбариса. В это самое мгновение прямо на него кто-то выскочил и испуганно взвизгнул. Йохим зажмурился, а когда открыл глаза, рядом уже никого не было, лишь упруго покачивались встревоженные ветки. Тогда он сел, зажав ладонями уши и закрыв глаза, чтобы в полной сосредоточенности рассмотреть свое богатство, свой счастливый билетик, столь неожиданно вылетевший из лотерейного барабана случайности. «Здорово, вот это здорово... Оно, именно оно! Все так! Так!» – восхищенно шептали его губы. Понадобилось лишь одно мгновение, торопливый щелчок объектива, чтобы картина, отпечатавшаяся на его сетчатке, легла недостающим звеном в мучавшую его шараду. Он наконец увидел то особенное, единственно важное Таинство, о существовании которого смутно догадывался, в поисках которого исчерчивал листы бумаги и препарировал головки цветов, по чему томился, высматривая из засады торжественный выход своей героини.

Йохим дегустировал детали, разбирая на составляющие, и вновь складывал в единое целое навсегда запечатлевшийся в его зрительной памяти образ, пытаясь понять, откуда, из чего возникло это безошибочное, молниеносное чувство восторга, узнавания и совершенной Красоты.

Досье, собранное им по интересующему вопросу, было достаточно обширным, составляя набор разнообразных впечатлений Прекрасного, схваченных тут и там. Здесь была лавина грозового потока, трепавшая кусты пионов, мерцание свечей в торжественном мраке костела, рдеющая в лучах вечернего солнца рябина, перезвон праздничных колоколов в Зальцбурге, яблоневоый сад в сентябрьский полдень и многое другое, вплоть до запаха пасхального пирога ранним утром.

Но центром галереи, ее главным сокровищем были, конечно же, образы Красоты, запечатленные его единомышленниками, среди которых почетные места были отданы Боттичелли, Тициану, Мане, Климпу.

Портрет девочки-соседки, складывавшийся в воображении Йохима из мимолетных, смазанных расстоянием и движением кадров, был теперь схвачен крупным планом, в гигантском формате, заключавшем все прежние впечатления.

Это лицо, раскрасневшееся от бега, залитое золотым сиянием прощального солнца так, что на высоких скулах отчетливо бархатился персиковый пушок, с сюрпризным сиянием в глубине прозрачно-крыжовенных глаз, было озарено тем особым светом резвящейся, распахнутой в предвкушении счастья души, который бывает только у детей за секунду до чуда: дверь в снежную ночь уже открыта и сейчас, вот прямо сию минуту, на пороге появится святой Сильвестр со своим знаменитым мешком или прямо из вьюги подкатят к ногам хрустальные саночки Снежной королевы...

Нижняя губа, припухшая и влажная, закушена двумя крупными зубами, паутинки волос, тоже припорошенные солнечным золотом, окружают лицо светящимся ореолом, и ожерелье глянцево-алого шиповника, нанизанного на замусоленную суровую нитку, лежит вокруг шеи именно там, где в нежной впадинке пульсирует тонкая синяя жилка... Это была та самая живая Красота, апофеоз таинства Божественного творения, разгадке которого в этот вечер присягнул посвятить свою жизнь Йохим.

4

Ему понадобится еще четверть века, чтобы посчитать себя вправе подвести итоги трудного поиска. Все это время она, никогда больше не встреченная в реальности, будет жить в сокровищнице его памяти неким талисманом, алхимической формулой, требующей экспериментального доказательства.

Довольно долго он думал, что эта девочка, девушка живет где-то в нежном шопеновском мире, где вечерний ветерок колеблет прозрачные занавеси в распахнутом сводчатом окне, а на белой крышке рояля благоухает букет никогда не вянущего жасмина. И уж наверняка это она, а не грузная дама касается клавиш быстрыми пальцами.

Ловя обрывки залетающих сквозь заросли сада мелодий, Йохим пытался представить ее повзрослевшую, с прямой спиной сидящую у рояля, когда уже студентом посетил родительский дом с печальной миссией – по случаю похорон преподобного Франциска, своего деда.

Церемония прощания состоялась на старом кладбище. Лето только началось, белые шатры черемухи, роняющей скорбную метель крошечных лепестков, навевали образы райских кущ, а шестеро мальчиков из церковного хора в черных сюртучках выводили мелодию с таким нежным, звонким старанием, что казалось, сонмы ангелов уже подхватили голубоватое облачко – душу почившего падре.

На локте Йохима повисла Корнелия, растолстевшая и, казалось, уменьшившаяся в росте. Черный сетчатой вуальке, спущенной с полей шляпки, которую он помнил еще по далекому посещению Зальцбурга, не удавалось скрыть всей бедственной немощи опухшего рыхло-бледного лица. Рядом, с осанкой королевы или классной дамы, стояла Изабелла – кузина Йохима из Линца, переполненная сознанием торжественности происходящего и собственного очевидного превосходства.

Когда гроб опустили и комья влажной земли застучали по высокой полированной крышке, Йохим, скрываясь за скорбно поникшими спинами, шагнул в боковую узкую аллею: ему как воздух требовалось одиночество. Кладбищенский вернисаж выглядел почти весело – надгробия и могильные плиты утопали в цветах, еще сохранивших блестящую свежесть росы. Йохим шел наугад, не глядя по сторонам, стараясь утихомирить смятенный рой мыслей. Лишь сейчас он впервые задумался над тем, что почти чужой старик, навсегда ушедший сейчас из его жизни, был его родным дедом. Что же такое – родство? И что это вообще было такое – детство, неуклюжее отрочество?

Только раз бредущий по кладбищу Йохим поднял глаза, чтобы увидеть вертикально стоящее надгробие, будто нарочно преградившее ему дорогу. К полированному черному камню, светящемуся изнутри перламутровыми сине-лиловыми блестками, нежно прильнул куст, усыпанный мелкими желтыми розами. С фарфорового овальчика в центре плиты насмешливо смотрело то самое лицо, которое он бережно хранил в своей памяти. Только волнистые волосы строго зачесаны назад, к шее прильнуло кружево воротничка, а смеющийся рот почти сомкнут, скрывает великоватые передние зубы. «Юлия Шнайдер 5.05.1945 г. Попала под грузовик в сентябре 1958 года, катаясь на велосипеде».

Он замер, сжав ладоням виски, морщась, как от раны. Потом долго сидел на скамеечке рядом, унимая головокружение и тошноту. Наконец мысли обрели ясную, текучую определенность, будто слезы. И в них прорывались острые всхлипы – боль несправедливого, не поддающегося осмыслению удара.

«Значит, ее давно уже не было на свете, она была здесь в темноте, и музыка из светящихся окон ее дома продолжала звучать, продолжал цвести только ей принадлежащий жас-

мин, радовалось и согревало землю солнце так преданно, так восторженно оглаживавшее когда-то это живое лицо...»

Йохим еще и еще раз перечитывал короткую надпись, будто пытаясь найти разгадку в чередовании цифр, понять смысл страшной ошибки или (а вдруг?) санкционированной кем-то свыше сознательной акции, погубившей обожествленную им драгоценность.

Впервые Йохим понял, что есть нечто беспощадное в своей слепоте, более могущественное, чем Красота. С этого момента он стал жить по-другому – с ощущением брошенного ему вызова...

5

Гимназия была для Йохима тем временем, когда ортопедическими усилиями коллективного воспитания и программного гимназического обучения удалось почти выправить своеобразную от рождения и достаточно пострадавшую от вмешательства близких личность Йохима. В занятиях он не отличался ни особыми успехами, ни очевидной небрежностью. Ученик-середняк уделял им ровно столько времени, чтобы не раздражать учителей и оставить достаточно времени для собственных нужд. Он запоем перечитывал городскую библиотеку, отличая внимание тех авторов, кто умел почувствовать и запечатлеть присутствие прекрасного, гулял, созерцая природу, по ближним окрестностям, отсиживался дождливыми вечерами в чердачной комнатке, принадлежавшей только ему.

В начальных классах он мало общался со сверстниками, имел лишь одного, раболепно ему преданного приятеля. У толстяка, вразвалку носившего на икс-образных ногах рыхлое, дрожащее под форменным сукном тело, были мягкие влажные ладони и бисеринки пота на пуговке носа, зажатого румяными, сдобными щеками. Страдающий неутомимой страстью к съестному, захлебывающийся одышкой при разговоре или ходьбе, парень часто во время уроков портил воздух, испуганно оглядываясь по сторонам, за что и получил прозвище Пердикль. Подшутить над Пердиклем стало делом чести классных остряков. Его бутерброды, заботливо уложенные матерью в специальный, задерживающийся веревочкой холщовый мешочек, подменялись собачьими какашками, упакованными в нарядную бонбоньерку; на сиденье парты, в то время пока Пердикль потел у доски, подкладывались кнопки или наливалась вода. Печальный опыт ни чему не учил толстяка, в сотый раз, не глядя, плюхавшегося на свое место и тут же с визгом вскакивающего, под гогот всего класса.

Процесс обучения Пердикля выживанию в социуме сверстников не ладился. Вместе с чувством затравленности, он все больше привязывался к Йохиму, не принимавшему участия в издевательствах, а также в какой-то степени разделявшему с ним репутацию физически отсталого ученика. Они часто оказывались на скамье штрафников на спортивной площадке, которую абонировали изначально, и толстяк даже сделал попытку занять пустующее место за партой рядом с молчаливым, замкнутым Йохимом. Но был решительно отстранен: привязанность потливого Пердикля тяготила Йохима. Эстет старался разжечь в себе чувство сострадания к нелепому сотоварищу, но чаще всего над усердно взлелеянной жалостью торжествовало озлобленное отвращение.

Много лет спустя Йохим понял жестокую закономерность, заставлявшую сообщество юных и здоровых изводить вонючего толстяка. Страдавший врожденным пороком сердца, обжора умер, немного недотянув до выпускного класса. Он так и не усвоил за свою недолгую жизнь, что кроме еды, ниспосланной ему в качестве утешения, на этом свете есть еще что-то стоящее. Во всяком случае, понятие Добра, о котором твердил на уроках Закона Божьего отец Бартоломей, воплотилось для него в образе теплой марципановой булочки с толстым слоем тающего сливочного масла.

Жестокость детей, мучавших толстяка, вдохновляла не злоба, а инстинктивное ощущение превосходства здоровой полноценности над ущербностью и безобразием. Желеобразный, брызгающий слюной Пердикль действовал совсем уж оскорбительно на эстетическое чувство Йохима, когда в классе появился новичок, сразу же ставший звездой школы, любимчиком преподавательского состава обоего пола и всех девочек, от нескладных младшеклашек до женственных выпускниц.

6

Отец Даниила, немец по происхождению, занял место ведущего инженера на молочной ферме, перебравшись с женой-француженкой и сыном в фешенебельный район города. Тот, где над старинными домами с островерхими крышами вздымался позеленевший купол старинной кирхи. Несмотря на фамилию Штеллер и подлинную национальность, отца Дани называли «французом», рассказывая о нем немало игривых историй, чем он скорее всего был обязан лихо закрученным маленьким усикам и бледной немощи жены, пребывающей в постоянной, попахивающей анекдотом хвори. Глядя на упитанное лицо, лысоватый череп и брюшко г-на Штеллера, трудно было поверить как в приписываемые ему грешки, так и в столь блистательное отцовство.

Дани и впрямь был великолепен. Какие бы романтические герои ни сходили в соответствии с литературной программой в классы гимназии, для подавляющего большинства учениц они приобретали облик Штеллер-Дюваля. Казалось, именно о нем писали Расин, Стендаль, Томас Манн и даже Ремарк, когда хотели изобразить нечто из ряда вон выходящее, вырывающееся из обыденности, всепокоряющее. Крошечное фото Дани, запечатленного во время баскетбольного матча, тайно тиражировалось и заняло почетное место в девческих альбомах, конкурируя с недостижимыми героями экрана. Уж если бы поклонницы Дани подбирали ему подходящую семью, то в качестве старшего брата непременно был бы приглашен Ален Делон – фамильное сходство было очевидно. Вот только светло-русые волосы, отпущенные до плеч по скандальной моде 60-х, отличали Дани от кинозвезды, не только не умаляя достоинств всеобщего любимца, но давая ему фору. Достаточно было понаблюдать, как Дюваль носился по баскетбольной площадке, вытягивался в броске у кольца, а светлая гривка металась вокруг его пылающего лица, чтобы навсегда сохранить этот образ в девичьем сердце.

Йохим был сражен и покорен новичком сразу, как только тот появился в классе, будучи представлен преподавателем географии с помощью указки, направленной прямо в грудь прибывшего, где на голубой футболке распластался пикассовский голубь мира. Класс рассматривал новичка в нависшей тишине, ведь не обомлеть при виде Дани было невозможно. Его застиранные, потертые джинсы выглядели столь непривычно и шикарно, что всем, кто до сего момента щеголял заутюженными стрелками на шерстяных брюках, захотелось поджать ноги под парту. Ярко-голубые глаза в оправе смоляных девческих ресниц, лучащиеся доброжелательностью и весельем, окинули класс. Секунду поколебавшись, Дани направился прямо к последней парте, где в гордом одиночестве ссутулился Йохим.

– Можно к тебе? – бросил он и, не дожидаясь ответа, сунул свой ранец в ящик.

С этого дня все и началось: Дани и Йохим стали неразлучны. Оказалось, что они жили почти рядом, и дом Штеллеров-Дювалей, почти всегда пустовавший (мать большую часть года лечилась на курортах Франции и Швейцарии, а отец возвращался после работы лишь вечером), превратили в постоянное прибежище друзей-заговорщиков. Да, заговорщиков, ибо их союз с самого начала основывался на тайном противостоянии всему обыденному, общепринятому, скучному. Эта пара многих удивляла, а Дани, внимание которого старались завоевать многие, казалось, и не замечал мезальянса, не понимал, что дружбу водят принц и вассал. А этого-то как раз между ними и не было. Незаметный, невыразительный Йохим будто ждал момента, чтобы широким жестом креза бросить к ногам достойного сотоварища накопленные им богатства.

В обществе Дани он был открыт, весел и остроумен. Он очень хотел нравиться Дани и, несомненно, нравился ему. Охотно открывая другу свои помыслы, мечты, весь накопленный им в сосредоточенном уединении опыт мальчишеской души, Йохим как бы перевоплощался

в обаятельного ясноглазого везунчика, заряжался его энергией и примеривал его шкуру, подталкивая к авантюрам, на которые в одиночку никогда не решился бы.

После рождественских каникул в школе появился новый учитель лепки и рисования – г-н Крюгер. Это был одинокий фанатик, неудавшийся Матисс, отдававший работе все свое время и нашедший в лице Дани и Йохима поддержку своим крылатым идеям. Друзья с головой ушли в подготовку выставки, где сюжеты из учебника истории должны были быть представлены разными видами изящных искусств. Под руководством учителя мальчики копали в овраге глину, строили печь для обжига, подготовив целый ряд фигур из средневековой истории. Особенно удался тевтонский рыцарь на коне в полном боевом облачении. Скульптура, хотя и снабженная проволочным каркасом, развалилась еще до обжига, что и спасло ее от окончательной гибели в огне. Куски были склеены, латы и оружие изготовлены из тонкой жести, грива и хвост коня воспроизведены из натурального конского волоса.

Выставка прошла успешно, ее экспонаты – череп неандертальца, разбитые амфоры, глиняная утварь ацтеков и упомянутый уже рыцарь долго еще хранились в застекленных шкафах директорского кабинета. Они продолжали привлекать внимание младшеклассников и гостей гимназии, когда уже и учитель Крюгер, и друзья-заговорщики, да и сама память о выставке давно покинули эти места.

Был и еще один случай, прославивший инициативную группу историко-изобразительного клуба.

К урокам истории Древнего мира решено было подготовить специальное действо. Ученики младших и средних классов, собранные в зале с затемненными окнами, увидели вначале цветные диапозитивы, изображавшие античные скульптуры, развалины Колизея, виды Рима и бои гладиаторов. А затем в свете софита, направленного к лекторскому столу, взорам присутствующих предстало нечто необычное.

В торжественной тишине голос учителя Крюгера, зловеще подвывая, объявил, что сейчас на специально подготовленном макете, с соблюдением историко-географической точности будет воспроизведено извержение Везувия, послужившее причиной трагической гибели Помпеев и Геркуланума.

Потянуло запахом серы, огромная конусообразная глиняная глыба, искусно уложенная камнями вверх у кратера и обсаженная веточками пихты, изображающими леса у подножия, содрогнулась. Из кратера повалил густой едкий дым, что-то зашипело, заискрилось бенгальским огнем, глина треснула, посыпались камни, из расщелин побежала огненная лава. Затем внутри глыбы громко рвануло, но шумовой эффект потонул в шквале визга рвавшихся к дверям учеников.

Это был триумф Йохима и Дани, который не могли омрачить даже визит в кабинет директора и снижение оценки по поведению за срыв исторической лекции, а также попытку поджога гимназического помещения. Они стали любимыми героями младших учеников, робко выспрашивающих секреты вулканической деятельности у опытных извергателей. Но тема была засекречена – педагоги опасались инициативы последователей.

Проводя большую часть времени с Йохимом, Дани, однако, имел и свою, недоступную другу жизнь. Он успевал заполучать спортивные грамоты, участвовать в выступлениях школьного хора, совершать походы в Альпы и встречаться с наиболее привлекательными поклонницами. Он легко менял интересы, наклонности, настроения, как бы примеряя разные роли, и во всех амплуа выглядел отлично, ничем не увлекаясь всерьез. Йохим был надолго разлучен с другом, когда тот, абсолютно лишенный музыкального слуха, вдруг начал активно посещать занятия хора, готовившегося к вечеру памяти Шуберта. Предстоял показ концерта в соседних городах, а также участие в телевизионной программе. Учитывая все это, никак нельзя было допустить, чтобы солист хора, обладавший чудесным звонким дискантом Робертино Лоретти, выглядел таким, как его создала небрежная природа. Курт был

мал ростом, лопоух и кос, так что казался постоянно гримасничающим и рассматривающим свою переносицу сразу с двух сторон. Прием, к которому прибегнул руководитель хора, был стар как мир. Курта подменил дублер, а несчастный сладкоголосый солист заливался соловьем, стоя прямо за спиной красавчика в плотной массовке хора. Йохим был до слез тронут шубертовской серенадой, вдохновенно исполненной Дани, так прозрачно, так чисто взлетал ввысь чудный голос, а синие глаза лучились печалью: «Песнь моя летит с мольбою... Тихо в час ночной», – запевал Дани, и многоярусный хор гулко выводил: «Ти-и-хо в ча-а-с ночной...» Это было одно из самых ярких впечатлений, полученных когда-либо от музыки Йохимом...

7

Йохим редко вспоминал о родителях, воспринимая их отсутствие как изначальную данность. Наличие молодых матерей и отцов у сверстников казалось ему даже чем-то странным. Случился и некий эпизод, надолго отбивший у юного Динстлера интерес к своему происхождению.

Барбара, старшая сестра матери Йохима, никогда не испытывала к ней нежных чувств. В основе антипатии лежала какая-то детская распря. Закончив гимназию, Корнелия уехала в Линц, и отношения сестер ограничились ритуалом семейного протокола – обменом поздравлениями по поводу праздников и юбилеев. Не испытывала никаких родственных чувств к родителям матери и ее дочь – Изабелла. Лишь однажды дистанция была нарушена. Семидесятилетний юбилей преподобного Франциска имел большой общественный резонанс в городе, так что в местной газете он был назван «светлым воином Духа, стоящим на страже Добродетели». На празднество из Линца прибыла кузина Йохима Изабелла.

Она оказалась 26-летней девицей того типа, для которого церковно-религиозные убеждения становятся подлинным смыслом жизни, предметом вдохновения и призвания.

Разница в десять лет не позволила Йохиму сблизиться с кузиной, маловероятно также, что они нашли бы общий язык, будучи сверстниками. Изабелла была подчеркнуто внимательна к двоюродному брату, но не скрывала очевидного превосходства, проявлявшегося в каждом ее слове. Как человек, знающий цену христианскому всепрощению и питающий отвращение к плотским слабостям, Изабелла росла в собственных глазах от сознания совершаемого духовного подвига – доброго общения с мальчиком, имевшим столь постыдное происхождение.

– Иза, скажи, ты когда-нибудь видела моих родителей? Кто они? – осторожно подступил Йохим к запретной теме.

Девушка многозначительно улыбнулась, давая понять, что уж она-то, конечно, знает, но будет молчать.

– Дети не несут ответственности за грехи родителей, – тоном смиренного всепрощения продекламировала она и смерила брата критическим взглядом. – Могу лишь заверить, что, по крайней мере, внешне ты не похож на Луизу. Она была куколкой и не отличалась особой серьезностью. Да простит Господь падших...

Йохим понял, что за его рождением скрыта какая-то постыдная тайна, к которой лучше не подступаться.

– У тебя вообще нет никакого фамильного сходства с нашим родом, – констатировала Изабелла, окончательно отмежевавшись.

Глянув на Изу, Йохим не мог не согласиться, хотя окружающие как раз находили, что они имели весьма много общего. Изабелла была не просто дурнушкой, а дурнушкой по призванию. Она никак не пыталась приукрасить себя, находя тайное удовлетворение в нарочитом отсутствии земной привлекательности, что, конечно же, подразумевало наличие в скорбном теле особого внутреннего превосходства. С первого взгляда на девицу создавалось впечатление какой-то общей тусклости, запыленности. Казалось, что в люстре разом перегорела половина лампочек, – так холодно смотрели ее глубоко посаженные глаза, так сухо обтягивала костяк блеклая кожа, имевшая землистый оттенок, сгушавшийся в глазницах и около рта. Именно эта вялая гамма и беспомощная лепка лица, сделанного наобум, без интереса к деталям, роднили ее с двоюродным братом. К тому же замкнутость Йохима и отрешенность Изабеллы ставили их в тот разряд рода человеческого, добродетели которого, на первый взгляд, начинаются с «не», – непривлекательных, неинтересных, незлых, неумных, неглупых – никаких.

8

Летние каникулы 1956 года друзья провели в разлуке: Дани отправился с матерью к бабушке, имеющей небольшую усадьбу и собственное дело в курортном местечке Французской Ривьеры. Оставшись один, Йохим вначале утратил всякий интерес к окружающему, а потом придумал себе дело. Во-первых, он начал вести дневник, в котором копил для друга свои наблюдения и размышления, в основном окрашенные разочарованием и тоской. Во-вторых, серьезно занялся французским, намереваясь потрясти Дани свободным потоком его родной речи. Дома с родителями Дани говорил по-французски, увлекая звучанием языка Йохима. Теперь уже не уроки гимназической программы, а французский, как язык свободного общения, стоял на повестке дня немецкоязычного австрийца. Правда, Йохим знал звучание и даже мог произнести несколько фраз на словацком: с детства у него сидела в голове короткая молитва, нашептываемая над его кроватью Корнелией. «Свята Марья, Матка Божия, про за нас грешних...» – слышал мальчик сквозь горячую дрему, ощущая на лбу желанную прохладу бабушкиной ладони.

Занятия языком шли не слишком успешно, зато в августе дневник Йохима растолстел за один день почти вдвое – это было описание вечернего Чуда на берегу, казалось пробиравшегося даже сквозь листы бумаги золотистым сиянием заходящего солнца. Совершенство явилось ему с нитью алого шиповника на замусоленной нити! А значит... значит – Бог есть и имя ему Красота! С ощущением припасенного сюрприза Йохим поджидал друга. Как только он увидел Дани, выскочившего из большого таксомотора, забитого багажом, то сразу понял жалкую тщетность своих усилий. Легко и просто, совсем не задаваясь этой целью, Даниил переплюнул друга: он покинул город четырнадцатилетним прелестным, но достаточно инфантильным симпатягой-сорванцом, а вернулся возмужавшим юношей, исполненным особого, взрослого шарма. В июне Дани исполнилось пятнадцать, он вытянулся, сильно загорел, коротко остриг романтические кудри и накачал бицепсы, заметно игравшие под тонким трикотажем тенниски. Можно было сразу догадаться также, что этим летом он получил свой первый мужской опыт, расширил сферу спортивных достижений (освоил, как и намеревался, лаут-теннис и серфинг), а также постиг азы светского общения (при встрече с Корнелией Дюваль поцеловал ей руку и почтительно склонил голову).

Впрочем, друг оставался по-прежнему милым, внимательным, чутким и даже с интересом выслушал прозвучавший сумбурно рассказ ступсавшегося Йохима: в присутствии Дани, с его новым авантурным багажом впечатлений, вся эта возня с красотами девичьей головки и раздумиями о законах мироздания показалась ему сентиментальным подростковым бредом.

В феврале Йохиму исполнилось пятнадцать. Он был не по возрасту высок и переживал это обстоятельство не ведая, что немного опередил время, возглавив генерацию акселератов, которой предстояло в ближайшие годы значительно обогнать его жалкие 185 см. Пока же он был самым высоким в гимназии, всегда возвышаясь над другими, в то время как хотелось совсем обратного – свернуться, спрятаться, убрать с глаз долой эту вислоносую, ушастую голову.

Бледное, не тронутое загаром тело, извлеченное из спасительной кожуры одежд, выглядело нелепо и жалко. Плечи не то чтобы узкие, но опущенные вперед, выставляли напоказ круглую спину с оттопыренными лопатками. Руки с красноватыми крупными маслами на локтях и запястьях болтались чуть ли не до колен, а бедренные кости, хотя и анатомически обезжиренные, казались все же слишком громоздкими.

Все это тело, будто состряпанное бестолковым поденщиком впопыхах из отходов от работы более вдумчивых мастеров, вызывало ощущение блеклости, второсортности. Зная это, фанат физического совершенства, не пытался внешне приукрасить себя. Напротив, он подчеркивал собственные недостатки, и делал это талантливо. Ссутуленная спина являлась печальным знаком капитуляции, крупная голова, втянута в плечи так, что взгляд, всегда направленный исподлобья, казался тяжелым, а на лоб постоянно падали пряди тонких, абсолютно прямых темных волос, не поддающихся никакому парикмахерскому воздействию. Чтобы ни делали руки и ноги бедолаги, особенно в присутствии посторонних, они казались какими-то болезненно вывихнутыми, непослушными, так что приходилось опасаться за любую бьющуюся вещь, находящуюся поблизости.

Много позже Йохим узнает, что можно «сыграть» красоту так же, как можно изобразить достоинство, величие, власть, то есть можно заставить окружающих поверить в фикцию, блеф. Что в любом человеке, озаренном внутренним светом, есть своя магическая привлекательность. Неспроста же Дани находил своего друга весьма симпатичным и даже любовался его ловкими, длинными пальцами, занятыми лепкой или рисованием. Дани нравилась и самоирония Йохима, придающая блеск изящества неуклюжести паренька, его летучая фантазия, заманивающая и подчиняющая.

«Йохим – собиратель красоты» – так прозвал Дани друга, пометив этим определением некий образ сказочного ученого, доброго андерсеновского чудака, не ведающего о своем могуществе.

Будущность Дани вырисовывалась с определенностью – он намеревался стать актером и успешно поступил в юношескую студию на телевидении в Линце. К выбору профессии Йохим не проявлял никакого интереса. Выпускные экзамены и планы на дальнейшее обучение, выстроенные для него стариками, он воспринял совершенно спокойно, так, будто наблюдал за всем со стороны. Ему было ничуть не стыдно, когда на экзамене по математике он перепутал какие-то простые и очевидные вещи, и совсем не интересно выслушивать Корнелию, расписывающую ему преимущество профессии, заполучить которую он должен был стараться в течение ближайших шести-семи лет. Даже думать об этом было скучно и противно, ибо протекающая помимо Йохима Готтлиба жизнь готовила ему явно неподходящее, как с чужого плеча поприще: по решению бабушки «Йохим – собиратель красоты» должен был стать врачом.

9

Ощущение того, что магистральная линия его судьбы затерялась в тумане и ему предстоит блуждать обходными тропками в темноте, без особой надежды выйти на главный, единственно верный путь, принесло Йохиму даже некоторое облегчение. С него свалилась ответственность, окрылявшая, но и тяготившая душу, та навязчивая идея реализации смутно вырисовывающегося призвания, которая требует полной отдачи всех сил. Но в какой области возможна реализация его жизненной миссии, понять было трудно. Потому Йохим послушно отправился в Линц к тете Барбаре, где он должен был исполнить свой гражданский долг на поприще *ziwiel dienst* – гражданской службы (ГС), заменяющей воинскую повинность.

Двоюродная сестра Йохима, двадцативосьмилетняя Иза, состояла в церковной общине «сестер Марии», опекающих дом престарелых. Окончив специальные курсы сиделок, Иза проводила дни и ночи в приюте Св. Прасковей, где смиренно и терпеливо выхаживала беспомощных инвалидов, облегчая физические страдания немощных и покинутых и подготавливая их души к переходу в иной мир.

В крохотном больничном городке, состоящем из двух корпусов, проживало около сотни стариков различного возраста и степени износа. Большая часть обитателей дома престарелых пребывала в так называемом местными циниками «полуупаковочном состоянии», занеся одну ногу в приделы иного, таинственного бытия.

Опекуном девяностотрехлетнего г-на Майера, находившегося уже несколько месяцев на границе жизни и смерти, оказался восемнадцатилетний длинновязый юноша Йохим Динстлер. Его можно было видеть возящим своего подопечного в кресле-каталке по аллеям парка в те дни, когда на дворе пригревало солнышко и голова г-на Майера «возвращалась на место». Но прогулки случались все реже. Чаще всего голова этого почтенного старца, занимавшего отдельный бокс с балконом, где-то путешествовала, что врачи называли прогрессирующим склерозом с рецидивирующей амнезией.

Тогда Йохиму, облаченному в светло-салатовый халат с макаронобразными завязками на спине и резиновый фартук, приходилось менять под стариком замаранную клеенку, обмывать мыльной губкой тщедушный, покрытый серой сморщенной кожей задик, тонкие, по-детски невесомые ноги с узлами синих, вздувшихся вен. Брезгливый от природы, юноша содрогался от подступающей рвоты, упрекая себя за неумение переключаться, как советовали более опытные медбратья, «на автомат». Но и удручающие воспоминания и эмоции, вызываемые тошнотворными запахами рвоты и человеческих испражнений, подчинялись тому же закону, что и самые чудесные драгоценные впечатления, – они выветривались, бледнели от прикосновения времени.

Когда голова г-на Майера «возвращалась на место», он вел себя вполне разумно в отношениях гигиены, приема пищи и на протяжении длительных бесед, которыми становился просто одержим после долгих странствий в подсознании. Его единственным постоянным собеседником, одновременно исполнявшим роли исповедника и судьи высшей научной квалификации, стал восемнадцатилетний Йохим. А случай оказался совсем непростым. Выслушивая откровения Майера, юноше предстояло решить сложнейшую философскую проблему ответственности ученого перед человечеством и цивилизацией, определить допустимые соотношения нравственных норм и пределов научного познания на материале конкретного, предложенного его внимаю случая – случая «эффекта М», открытого молодым Майером более полувека назад. Это оказалось непосильной задачей для Йохима. Но он и не подозревал, что будет вынужден вернуться к решению этих проблем через полтора десятилетия, когда «эффект М» станет смыслом осуществления его миссии.

Нынешний же санитар ГС не имел ни малейшей предрасположенности к подобным дискуссиям, приобретающим зачастую характер абсолютно маразматических мемуаров. Несмотря на минимальный интерес к откровениям доктора Майера, в воображении Йохима засели образы Бонни и Клайда – щенков добермана, превращенных молодым ученым в ходе удачного эксперимента в неких обезьяноподобных монстров, которых ему удалось выдать за детенышей вымершего вида человекообразных обезьян. Эти уродки были очень привязаны к хозяину и временами разделяли с ним застолье, сидя на высоких детских стульчиках.

Впрочем, фантазии впадающего в безумие фанатика-биофизика, экспериментировавшего в тайных лабораториях Третьего рейха, вряд ли стоило принимать всерьез, как и его покаянные загадочные полупризнания о преступном сотрудничестве с нацистами, имевшими якобы самые серьезные исторические последствия.

Майер умер ранней весной, проводя в обществе Йохима последние восемь месяцев своей долгой, запутанной жизни. Он уходил в беспамятство, усмирённый сильнодействующим уколom, изредка всхлипывая в трубочку кислородного аппарата.

Комнату мягко освещал ночник, дежуривший на стуле у изголовья старца юноша дремал, уронив на колени книжицу «Духовные чтения». Земной срок Майера истекал в декорациях спокойного, почти домашнего уюта. В застывшей тишине, казалось, слышался шелест песка в часах его жизни, тонкой струйкой убегавшего в вечность. С каждым коротким вздохом высохшего тела последние песчинки покидали опустевший сосуд, и вот уже последняя, на мгновение задержалась в тонком перешейке, как бы сожалея о чем-то недосказанном.

В эту же секунду, будто кем-то окликнутый, встрепенулся Йохим и остолбенел: с потемневшего лица умирающего на него смотрели умные, насмешливые, молодые глаза. Озарение внезапной догадки полыхнуло в сознании Йохима. С безошибочностью ясновидения он ощутил, что между ним и покидающим мир старцем существует связь, более таинственная, могущественная и важная, чем это можно понять или объяснить кому-либо...

Через минуту в палате сустились врачи, зафиксировавшие смерть Майера, а Йохим глотал микстуру с острым запахом ментола и валерьянки, слыша, как позвякивают его зубы о край стакана. Это была первая смерть, невидимкой прошедшая рядом.

10

Еще три долгих светлых месяца отслужил Динстлер в доме Св. Прасковей, мучительно ощущая контраст между пробуждающейся природой и человеческим умиранием.

Сестра Иза упорно снабжала кузена религиозной литературой, тайно ожидая проявления его духовного преображения, но поводов для радости ее угрюмый подопечный не давал. Книги с назидательными историями из жития великомучеников он толком и не читал, пробегая поверхностным взглядом: душу его они не трогали, а мысли блуждали далеко в стороне.

И все же этому странному существованию служащего ГС Динстлера пришел конец, пришел именно в тот момент, когда он с удивлением стал замечать, что не томится больше запахами больничной кухни и немощных тел, не отводит глаза при виде ужасающего разрушения, производимого в человеке старостью, не содрогается от жестокого фарса праздничных торжеств, устраиваемых для обитателей Дома. А эти улыбки 80-летних кокеток – тронутые помадой губы, старательно подвитые седенькие кудельки над просвечивающейся розовостью черепа... Эти глаза, еще живые, еще помнящие жизнь, еще так ее жаждущие, с постоянным поединком детского неведения, стремящегося позабыть об издевке разложения, и всезнающей, все понимающей, но не готовой смириться мудрости... Эти смеющиеся лица людей, постоянно ожидающих финального звонка, – Йохим никогда не сможет избавиться от них, хотя и постарается запрятать в самый отдаленный чулан памяти...

В июне 1960 года Йохим предстал перед теткой, имея удостоверение о завершении гражданской службы, деревянный ящик, набитый полуистлевшими бумагами почившего Майера, завещавшего юноше свое научное наследие, а также повзрослевшую душу, заполненную ценным опытом. Благодаря опыту смирения и самоотречения он нашел в себе силы начать с сентября процесс обучения на медицинском отделении университета.

Перспектива семилетнего проживания в доме тети под духовной опекой сестры Изы казалась Йохиму не более привлекательной, чем тюремное заключение. Поэтому он вздохнул с огромным облегчением, когда после первого семестра получил предложение одного из соучеников поселиться у них в доме. Алекс Гинзбург, являвшийся единственным наследником преуспевающего предпринимателя-обувщика, имел не больше склонности к медицине, чем сам Йохим, но абсолютно не обладал его умением создавать видимость достаточного прилежания. После сложнейшего зачета по гистологии, который Йохиму удалось сдать и за себя, и за добродушного олуха, случайно оказавшегося с ним за одним столом, Алекс произвел простейшие расчеты. Полагаясь на первое впечатление, он решил, что замкнутый, молчаливый провинциал, наверняка потенциальный отличник, намеревающийся сделать врачебную карьеру, станет неплохой страховкой в предстоящем обучении. Йохим перебрался в большой дом Гинзбургов, где студентам был отведен целый этаж – с двумя спальнями, комнатой для отдыха с тренажером, музыкальным центром, телевизором и специально подобранной библиотекой. Он знал, что расплачиваться за этот комфорт ему придется вдвойне – во-первых, постоянным присутствием не слишком симпатичного ему Алекса и, во-вторых, образовательными усилиями, достаточно напряженными. В отличие от своего недалекого сотоварища, он просчитался: общество Алекса, активно проводящего время в стороне от учебных залов, его не переутомляло, а вместо тягостного опекуинства Йохиму предстояло в совершенстве овладеть притягательным искусством вранья.

Зато Алекс почти угадал. Йохиму не оставалось ничего другого, как погрузиться в занятия, поддерживая имидж старательного студента перед приютившим его семейством.

Ощущение того, что он проживает как бы в черновике, изобилующем ошибками и неточностями, чужую, малоинтересную жизнь, стало стилем существования Йохима: все

кое-как, вяленько, без вдохновения и энтузиазма. «Где же ты, настоящее дело? – тосковал он. – Зачем я здесь? Кто я и зачем я вообще?»

От Дани, поступившего в школу актерского мастерства театра радио и телевидения в Париже, приходили огромные восторженные письма. Йохим поначалу попробовал излить душу в пространных посланиях к другу, изнемогая от жалости к самому себе и своей серой унылой жизни. Однако душераздирающие, натуралистические подробности быта приюта престарелых, посещений больниц и анатомички не произвели на Даниила должного впечатления. Чего, собственно, ожидал Йохим? Что друг примчится к нему на выручку, оставив все, или заставит его бросить медицину, вытащит его сильными руками в свой чудесный мир? Втайне, боясь самому себе признаться в этом, Йохим ждал именно этого чуда. Но Дани исписывал листы, настойчиво объясняя другу, сколь благородно избранное им поприще, как прекрасно ощущать на себе белый халат врача – спасителя и защитника, как много еще ему сулит будущее, и т. д. и т. п. Йохим замкнулся, свернув переписку к формальным коротким весточкам.

Он жил, работал, сдавал экзамены, писал курсовые работы с оттенком мазохистского удовлетворения. Прикладывая гигантские усилия к преодолению отвращения к медицине, Йохим и не подозревал, что многие задачи в этой области ему даются на удивление легко.

11

На четвертом году обучения группе студентов, наблюдавших за работой хирурга в большом стеклянном колпаке специально оборудованной операционной, полагалось принять участие в последующем обсуждении операции.

Часы уже сделали три полных круга, и студенты, изрядно соскучившиеся на своем наблюдательном посту, успели обменяться впечатлениями по поводу главной задачи и стратегии ее осуществления оперирующим хирургом.

В тот день у стола стоял ассистент профессора Вернера, уже имевший хорошую репутацию. Сам же профессор, пробывший в операционной не более 30 минут, должен был провести учебный разбор.

Йохим с трудом переносивший подготовительные этапы трепанации черепа со специфическим скрипом и хрустом дрелей и пилочек, вскрывающих кость, уже научился воспринимать операционное поле в раме стерильного полотна как некую абстрактную игровую площадку, диктующую свои условия и правила их выполнения.

Огромная, постоянно увеличивающаяся гематома, возникшая у 55-летнего больного в результате черепно-мозговой травмы, угрожала важнейшим жизненным центрам мозга. Задача хирурга состояла в том, чтобы, оценив динамику процесса, ликвидировать кровяной сгусток, давящий на ткани, и перекрыть поврежденные сосуды, не лишив мозг нормального кровоснабжения. Многое здесь зависело от состояния сосудов, места и степени их повреждения, а также наличия и прогноза побочных явлений, не обнаруженных в ходе предварительного обследования. У каждого опытного хирурга имеется множество примет, зачастую на интуитивном уровне помогающих мгновенно оценивать ситуацию, корректируя свои действия по ходу работы. Как охотник-таежник, ловящий в лесу тысячи ему одному понятных знаков, он движется по следу в верном направлении, заранее рассчитав место и время решительной схватки.

Операция завершилась, наступил момент разбора проделанной хирургом работы. Профессор Вернер пригласил студентов в аудиторию. Он не отличался особой дотошностью в опросе учащихся, было заметно, что преподавательская миссия не слишком увлекает именитого профессора, уступая место более серьезным профессиональным заботам в успешно руководимой им на протяжении 12 лет собственной клинике.

Лет под пятьдесят, со всеми подобающими возрасту признаками усталости и физического износа, Вернер сразу же производил верное впечатление – жесткого, сдержанного человека, приподнятого над окружающими загадочным даром Мастера. Худое лицо нездорового сероватого колера с зоркими маленькими глазами, отягощенными отечными мешками у нижних век, обратилось к Йохиму.

– Что бы вы могли отметить, студент Динстлер?

– Практически... ничего, – с трудом выдавил Йохим, неожиданно оторванный от анализа внешности профессора требовательным высоким голосом. – Только... – продолжал он, оставив бесконечное, интригующее многоточие, и вдруг решительно продолжил: – Я думаю, что при данном диагнозе проведенная коррекция была необходима, но более чем достаточна. Склерозированность сосудов, подтолкнувшая хирурга на меры крайней предосторожности, не показалась мне столь угрожающей...

Йохим говорил торопливо и подробно, анализируя основные этапы операции, как будто уговаривал себя признать ее успешной, и тут же приводя контрдоводы. Студенты притихли. Профессор, прищурившись и сжав губы, с любопытством смотрел на него.

– Благодарю вас, – коротко прокомментировал он пространное выступление студента.

Йохиму было невыносимо стыдно за свое внезапное откровение. Он и сам не понимал, что подтолкнуло его на столь дерзкий шаг, возможно заговор коллег, промолчавших о самом главном, показавшемся Йохиму откровенным промахом хирурга. И вот теперь он, пренебрегая профессиональной этикой и здравым смыслом учащегося, влез со своей наивной критикой, поставив всех в неловкое положение.

Как всегда, Йохим преувеличивал масштабы своего конфуза: коллеги-студенты мало чего поняли из его выступления, а вот Вернер был озадачен – в сбивчивом и мало профессиональном объяснении долговязого парня драгоценным блеском сверкали точные наблюдения и выводы. В ходе операции малоопытный студент подметил именно то, что мог заметить только он сам – знаменитость, виртуоз, светило.

Через год, отбирая группу стажеров для хирургической практики, Вернер вспомнил о Динстлере, запросив на него характеристику у руководителя курса. Отзыв был не лестным – студент не блистал способностями, не проявлял активности и склонности к хирургической деятельности. И все-таки Вернер рискнул.

12

Несколько месяцев Йохим, проходивший обучение в разных подразделениях клиники, ничем не обращал на себя внимания. Во время ночных дежурств в отделении экстренной хирургии он старательно выполнял распоряжения главного врача, успевая даже вздремнуть в ординаторской. Но в ночь на 15 ноября ситуация с самого начала приняла характер форс-мажора. Дежурный врач, живущий в пригороде, застрял на шоссе, где в огромной пробке, вызванной небывалым снегопадом, скопились сотни машин. Несколько автомобилей, находящихся в самом эпицентре аварии были основательно искалечены. Завывая сиренами, к месту происшествия съезжалась полиция и медицинская помощь. Беснование снежного бурана фантастической синевой заливал свет вертящихся мигалок. Пятна крови казались черными, а занесенный снегом телерепортер в наброшенном капюшоне с небольшой камерой на плече смахивал на привидение.

С этого злополучного места и начали поступать после полуночи раненые. Обе операционные были полностью подготовлены к работе, собран по тревоге необходимый медперсонал, среди которого оказался Йохим. Он подключал шланг к аппарату искусственного дыхания, когда в распахнувшиеся двойные двери санитары бегом вкатили тележку; тело пострадавшего было уложено на операционный стол. Одного взгляда на кровавое месиво, когда-то бывшее головой, оказалось достаточным, чтобы Йохим почувствовал слабость в коленях и подступившую тошноту. Он успел увидеть кусок челюсти с зубами, в одном из которых сверкала золотая коронка. Самое страшное было в том, что кусок этот висел совершенно отдельно, на том месте, где должен находиться подбородок, – но не находился...

Сквозь туман Йохим слышал, как его окликнула сестра, подавая шланг, как скрипели дрели, что-то капало и булькало, как коротко и четко звучали команды хирурга. Боясь попасть взглядом в освещенный круг, где творилось нечто ужасное, Йохим уставился поверх склоненных голов в окно, на его темный, не покрашенный белой краской верхний квадрат, в котором плясали, скользя по стеклу, сумасшедшие снежные хлопья.

Когда он наконец нашел в себе силы приблизиться к столу, операция уже шла полным ходом. В рамке из окровавленных бинтов, салфеток, тампонов, сверкая торчащими металлическими зажимами, находилось то, что совсем еще недавно составляло человеческое лицо. Йохим решительно отогнал мысли, уже вцепившиеся в него вопросами: кто это? каким лезвием он сегодня брил, весело насвистывая, свой подбородок? кого чмокнули на прощание губы, навсегда сгинувшие? «Не смей! – приказал он себе. – Заткнись сейчас же, размазня, кретин. Работай, ублюдок!» Подстегивая себя злостью и натужно выпучив глаза, стремящиеся зажмуриться, Йохим смотрел на сочно алеющую арену хирургических действий. Руки в тонких окровавленных перчатках, поблескивая инструментами, что-то с усилием делали в глубине раны, деловито щелкал металл, и через некоторое время Йохим поймал себя на том, что полностью ушел в происходящее, увлеченно следя за умной, красивой работой рук. Как всякие действия, производимые маэстро с подвластным ему материалом – струнами скрипки, комями глины, красками и холстом, работа хирурга завороживала Йохима. Ощущение невероятной сложности задачи и легкости ее исполнения вызывали в нем то особое чувство, которое пробуждает в человеке приобщение к подлинному искусству, – чувство гордости, радости, силы. С захватывающей увлеченностью следил Йохим за ходом этого сражения, ставкой которого была человеческая жизнь. Позиции «фигур» на игровом поле открывали ему свою скрытую значимость, он предвидел последующие ходы, но не имел представления о путях их реализации. Смысл движений рук хирурга открывался перед ним по ходу «игры», принося радость понимания: «Ага, вот оно как, значит, происходит».

И не подозревая за собой какой-то исключительности, Йохим обладал особым даром – сложный механизм организации живой материи был для него открытым миром, законы которого изначально сидели в его подсознании. То, что другим открывалось в результате кропотливых длительных усилий ума и воли, этому парню дано было природой.

...Когда операционная наконец опустела и шатающийся от усталости Вернер вышел из дверей больницы, время уже двигалось к полудню – он простоял на ногах около 10 часов. Метель давно кончилась, рыхлые снежные подушки, завалившие деревья и крыши, истекали потоками талой воды. Вернер задержался на ступенях, слыша, как за спиной хлопнула дверь, мгновенно разделив наэлектризованную проблемами клинику и его, с честью выполнившего ответственную миссию. Вдыхая воздух заслуженной свободы, он подставил постаревшее лицо под прохладную, пахнущую скошенной травой капель.

– Прошу прощения, профессор. Стажер Динстлер. Я видел сегодня вашу работу – это было удивительно. Пожалуйста, ответьте на один вопрос...

И прежде чем Вернер успел что-либо возразить, он услышал то, что заставило его пристально посмотреть в лицо говорящего. Сегодня, сам не зная почему, ведомый некой загадочной силой, он поступил вопреки всякой профессиональной логике: рискнул – и выиграл! Эта мысль, настойчивым звоночком дребезжащая в его усталой голове, пробивалась сквозь изоляционный слой усталости. И вот она, четко сформулированная, была высказана вслух посторонним человеком.

– Почему, почему вы рискнули, профессор? Что подсказало вам это?.. Ведь я поступил бы так же...

Вернер удивленно рассматривал студента, что-то припоминая.

– Простите, я еле держусь на ногах. Жду вас завтра в десять утра. Тогда и поговорим, – Бросил профессор длинновязому студенту, направляясь к своей машине.

...Через час после горячей ванны с хвойным экстрактом и чашки крепкого бульона Вернер, закутавшись в мягкий халат, лежал на диване в гостиной своего дома. На телевизионном экране мелькали сообщения о трагических происшествиях прошедшей ночи, у ног профессора сидела молодая женщина, умело массируя ноющие голени.

– Ты знаешь, Ванда, сегодня у меня был удивительный случай. Нет, нет, не на столе – об этом потом. Меня поразил один парень, ассистент с университетской кафедры. Удивительно... У него какой-то особый нюх в наших делах – он просто знает, откуда что растет... Знает – и все тут!

– Как его имя? – Девушка тихонько поднялась и укутала засыпающего профессора пледом.

Глава 3

Банда

1

Мужчины считали ее яркой и привлекательной, а женщины вульгарной и наглой, тайно завидуя той напористой силе, с которой пробивала себе дорогу двадцатипятилетняя Ванда Леденц.

Дочка мелкого, не слишком удачливого фермера из небогатой австрийской провинции, Ванда с детства была убеждена, что аист, разносивший малюток, ошибся адресом. Белорозовая кружевная колыбелька где-то в роскошной детской богатого особняка, по праву принадлежавшая ей, была занята по оплошности глупой птицы какой-нибудь бестолковой плаксой, а она – бойкая, смышленная, кокетливая «наследная принцесса» – оказалась третьим ребенком большой, суматошной, вечно бедствующей семьи. Ей предстояло исправить ошибку – вырваться из этого дома, пропахшего тушеной капустой, из затхлого провинциального мирка, где самым большим событием были праздничные церковные службы и воскресные ярмарки в соседнем городке. Освободиться от пут предательски подsunутой ей третьесортной судьбы, ограниченной детьми и кухней, копеечной экономией и жалкими редкими радостями – рождественским гусем, новым шерстяным жакетом ко дню рождения или ярким почтовым ящиком у крыльца.

Ванда-школьница с упоением погружалась в иллюстрированные журналы, пристально изучая светскую хронику, следила за ходом сезонных увеселений сильных мира сего, новостями балов, кинофестивалей, изучала рекламы модных курортов, рейтинг фешенебельных отелей, ресторанов, салонов мод. Она знала, как одеваются, что едят и пьют в ее настоящей жизни, и с мужественным стоицизмом донашивала одежду старшей сестры, доедала кашку младших, выполняла тяжелую работу по хозяйству, в котором было и кукурузное поле, и скотина, и старый абрикосовый сад. Ванда не жаловалась и почти не умела плакать: она знала, что вырвется, наверстает, что утрет нос всем, подкатив однажды в белом «роллс-ройсе» к этому облезлому дому.

Из пятерых детей Леденцев Ванда и впрямь была самая толковая. В гимназии она училась лучше других, помогала матери, а также успевала заработать свои маленькие деньги, бегая два раза в неделю рано поутру вымывать аптеку на станции, принадлежавшую ее двоюродному дяде.

Ванде нравился запах трав и ментола, пропитавший высокие шкафы старого темного дерева, ряды всевозможных пузырьков, снабженных языками бумажных этикеток с латинскими словами, и особенно – три огромных прозрачных стеклянных шара, выставленных в витрине. В центральном плавали, извиваясь, живые пиявки, а два других, до половины наполняли лакричные леденцы мазутного цвета – от простуды и кашля.

Хорошие результаты в школьных занятиях, симпатия учительницы биологии, считавшей девочку, аккуратно перемивавшую за весь класс пробирки после занятий, прирожденным химиком, и аптечные впечатления подтолкнули Ванду к нужной дорожке. После окончания гимназии она добилась одобрения семьи в принятом ею решении – получить профессию фармацевта в университете города Граца. Впрочем, тяга к образованию, сильно наигранная, была для Ванды предлогом перебраться в большой город, в другую среду, из которой, при необходимых усилиях, откроется для нее дверь в иную жизнь.

общего. Изабелла была не просто дурнушкой, а дурнушкой по призванию. Она никак не пыталась приукрасить себя, находя тайное удовлетворение в нарочитом отсутствии земной привлекательности, что, конечно же, подразумевало наличие в скорбном теле особого внутреннего превосходства. С первого взгляда на девицу создавалось впечатление какой-то общей тусклости, запыленности. Казалось, что в люстре разом перегорела половина лампочек, – так холодно смотрели ее глубоко посаженные глаза, так сухо обтягивала костяк блеклая кожа, имевшая землистый оттенок, сгущавшийся в глазницах и около рта. Именно эта вялая гамма и беспомощная лепка лица, сделанного наобум, без интереса к деталям, роднили ее с двоюродным братом. К тому же замкнутость Йохима и отрешенность Изабеллы ставили их в тот разряд рода человеческого, добродетели которого, на первый взгляд, начинаются с «не», – непривлекательных, неинтересных, незлых, неумных, неглупых – никаких.

2

Летние каникулы 1956 года друзья провели в разлуке: Дани отправился с матерью к бабушке, имеющей небольшую усадьбу и собственное дело в курортном местечке Французской Ривьеры. Оставшись один, Йохим вначале утратил всякий интерес к окружающему, а потом придумал себе дело. Во-первых, он начал вести дневник, в котором копил для друга свои наблюдения и размышления, в основном окрашенные разочарованием и тоской. Во-вторых, серьезно занялся французским, намереваясь потрясти Дани свободным потоком его родной речи. Дома с родителями Дани говорил по-французски, увлекая звучанием языка Йохима. Теперь уже не уроки гимназической программы, а французский, как язык свободного общения, стоял на повестке дня немецкоязычного австрийца. Правда, Йохим знал звучание и даже мог произнести несколько фраз на словацком: с детства у него сидела в голове короткая молитва, нашептываемая над его кроватью Корнелией. «Свята Марья, Матка Ванда представляла собой враждебный «золотым девочкам» тип: выскочка – парвеню, потеющая над конспектами в своей нейлоновой блузке, не имеющая за спиной ни приключений, стоящих внимания, ни семьи, способной оплатить капризы, ни видов на будущее. Ее просто не замечали, а при случае ядовито подсмеивались. И все же Ванда не теряла надежду, стараясь оказаться поближе с небрежной томной Мици, учившейся с ней в одной группе. Чем занимался Мицин папаша, никто толком не знал, но огромный дом в модном предместье и сверкающий БМВ с шофером, доставлявший сонную крошку прямо к университету, производили впечатление. Вялая Мици не тратила сил на общение с кем попало, имея близких наперсниц из своего круга, откуда уже и просачивались слухи о ее сногсшибательных романах то с известным автомобильным гонщиком, то с популярным телевизионным журналистом. В доме Мици частенько собиралась молодежь, устраивая вечеринки с фейерверками и коктейлями в бассейне, с пикантными последствиями, о которых, сильно привирая, шушукались местные сплетницы.

Ванда преданно следила за каждым движением Мици, стараясь не упустить ни одной детали. Вот сонная девица появилась в дверях аудитории (лекция уже началась, но все головы повернулись к вошедшей), пару секунд постояла, любуясь произведенным эффектом, кротко извинилась за опоздание и, не спеша, направилась по проходу.

– Это уже не первое опоздание, я ставлю вам на вид, – неся вслед голос профессора. Но не он делал сейчас погоду.

Тонкое шерстяное джерси цвета беж туго обтягивало круглый, компактный задик, щедро выставляя на обозрение кружевные белые колготки; белый же пушистый свитерок с большим, небрежно отвисшим воротом подчеркивал удлиненный торс, прямые светлые волосы разбросаны по плечам – поистине, небесное создание, сама женственность и соблазн двигались между рядов.

Бросив сумку-портфель из мягкой натуральной кожи прямо на конспекты Ванды, «небесное создание» устроилось рядом и утомленно вздохнуло, выставив из-под стола длинные ноги.

– Профессор Дитц уже рассказал про строение черепа. Хочешь посмотреть мою запись? – Ванда услужливо пододвинула Мици аккуратный конспект.

Та закрыла предложенную ей тетрадь и с видом крайней терпимости к плебейскому идиотизму устала в пространство.

Лекция, идущая без перерыва, перевалила уже на второй час, когда Мици, пребывавшая в отвлеченной полудреме, слегка толкнула локтем свою соседку.

– Послушай, – шепнула она, – мне надо незаметно уйти. Ты сейчас возьмешь мою сумку и выйдешь. Будешь ждать меня у машины.

Ванда вспыхнула от радости – Мици попросила ее о помощи! Вот он – долгожданный случай. Стараясь быть небрежной, она зажала под мышкой чужую сумку и демонстративно направилась к двери прямо под носом удивленного Дитца. Найти машину Мици не составляло труда. Ванда с хозяйским видом расхаживала у автомобиля, воображая, с каким любопытством поглядывают на нее сейчас проходящие мимо, и предвкушая дальнейшее развитие завязавшихся с Мици отношений.

Мици появилась минут через двадцать, подхватила из рук Ванды свою сумку и уселась в автомобиль.

– Пока, киска, – небрежно бросила она, захлопывая дверцу.

Ванда долго смотрела вслед удалявшемуся автомобилю, пытаясь понять, почему ускользнул из ее рук столь удачный шанс.

Вскоре Ванда, подмечая красноречивые взгляды, брошенные ей вслед и знаки внимания со стороны молодых людей, поняла, что ставку надо делать на мужчин. Здесь ее недостатки – незавидное происхождение, провинциальность и бедность – не имели такого значения, в то время как женские достоинства, если и не давали преимущества перед заносчивой Мици и ее подружками, то и не слишком им уступали. А уж кое в чем Ванда наверняка может дать им фору.

3

Три года городской жизни и университетского общения Ванда использовала с максимальной пользой, неустанно работая над собой. Наконец она нашла тот стиль, который, при имеющихся данных, создавал образ девушки жизнерадостной, открытой, соблазнительной по своей яркой женственной сути вопреки врожденной скромности и простоте. Ванда не считала себя красавицей, но интуитивно подозревала, что не уступит в искусстве завоевания мужского внимания любой длинноногой «львице» – пресыщенной, перекормленной с пеленок питомице «хорошей детской».

У нее была приличная фигурка, довольно приземистая, лишенная тонкокостного изящества, но складная и, главное, сексапильная. Коротковатые ноги с крепкими икрами и прочными жилистыми щиколотками хорошо смотрелись в модных лодочках на высоких шпильках, которые Ванда без труда носила с утра до вечера. Широкие, мускулистые плечи могли бы принадлежать юноше, зато летом, обнаженные и загорелые, они заманчиво выступали из-под бретелек сарафана. Лицо девушки можно было признать пикантным или неприятным в зависимости от преобразовательных усилий, потраченных на него. Утром в зеркале Ванда видела короткий, толстоватый, будто забитый ватными тампонами нос, не привлекающие особой выразительностью или величиной голубые, широко посаженные глаза и тот неудачный овал лица, который уже к восемнадцати годам обещает отяжелеть и обзавестись двойным подбородком, а к двадцати пяти – напоминать о пятидесяти. Но губы были пухлыми и яркими, кожа, хоть и обладающая тусклым сероватым оттенком, быстро загорала и не страдала изъязнениями, а волосы, довольно редкие, – легко поддавались укладке.

Ванда не совершила главной ошибки, подстерегавшей девушек ее плана, – она не стала копировать светский стиль и утонченность или тянуться за богатыми модницами в приобретении дорогого гардероба, что было бы смешно и нелепо. Она пошла другим путем – оставила свою природную индивидуальность, выгодно откорректировав ее: простушка, но не дурнопахнущая деревенщина, кокетливая, но не легкодоступная, одетая недорого, но нарядно и броско в смесь фольклора и поп-стиля, яркого, всем понятного.

Преображенная Ванда напоминала фруктовую эссенцию химического происхождения, передающую концентрированный вкус ягоды, крепкий, ядреный и более соблазнительный, во всяком случае для не слишком утонченного большинства.

4

Устроившись ночной сиделкой в университетской клинике, девушка все свои заработки вкладывала в редкие, тщательно продуманные покупки, не хватая что попало: минимум, но хорошей дорогой косметики, минимум неслучайных шмоток, образующих в комбинациях довольно разнообразный гардероб, и одна, но хорошая пара туфель. На лекциях «нужных» педагогов в первом ряду сидела студентка в неизменной белой блузке-гольф с высоким воротником. Она знала, что должна примелькаться, запомниться, и старалась выдержать имидж синего чулка, сосредоточенного на образовании. Миленькая и вдумчивая, Ванда тратила много времени на обязательный обильный макияж, даже если для этого приходилось вставать затемно. Ни при каких обстоятельствах – ни во время ночных дежурств, ни в плохую погоду – она не появлялась без густо подведенных синевой глаз, удлинненных тушью ресниц и выющейся с постоянной помощью бигуди рыжеватой шевелюры.

Привычный облик Ванды запечатлелся у окружающих так прочно, что казалось, и голубизна век, и милые кудряшки, и деревенская свежесть щек даны ей от природы. Подвижность, улыбчивость, обнаженные коленки, веснушки на тупом носике привлекали внимание мальчишек и зрелых мужчин. Но в вопросе выбора кавалера у Ванды были свои жесткие принципы, старательно скрывааемые под маской природной сексапильности.

Первые сексуальные опыты со сверстниками-студентами, предпринятые Вандой скорее из необходимости самообразования и любопытства, чем по велению плоти, дали ей возможность сделать два немаловажных открытия: во-первых, она поняла, что секс никогда не станет играть главную, всеподчиняющую роль в ее жизни, во-вторых – что при умелом подходе он может стать мощным рычагом воздействия на процесс преуспевания.

А чуть позже, во время летних каникул перед третьим курсом, для Ванды прояснилось и еще одно обстоятельство. Она поняла, что женский интерес в ней пробуждают лишь зрелые мужчины. Возможно, седеющие виски и опытный взгляд были неразделимы в сознании целеустремленной девушки с понятием карьеры, достатка, но именно тип преуспевающего солидного мужчины стал в ее поисках объектом номер один.

5

Однажды ясным сентябрьским вечером, когда ведущая к лечебному корпусу клиники аллея каштанов расслабилась после дневного жара в прохладной свежей голубизне, профессор Вернер, едва выехав за ворота, притормозил возле голосующей на тротуаре девушки. Узкое трикотажное платьице в широких оранжево-бело-синих полосах, вздернутое ее поднятой рукой значительно выше загорелых коленок, привлекло внимание уставшего и привычно погруженного в свои думы профессора. Увидев, что машина останавливается, девушка затопила к ней, слегка прихрамывая на левую ногу, так что высокий каблук-шпилька, казалось, вот-вот подломится. Вернер распахнул дверцу, и ее губы, слегка тронутые помадой, быстро залепетали у его виска:

– Простите, профессор, студентка третьего курса Ванда Леденц. Я неудачно подвернула ногу. Очень больно наступать, а на Гартенштрассе меня ждет больная... Я знаю, что вы... Не будете ли так любезны...

– Садитесь, – предложил Вернер, удивляясь, что вместо раздражения от неожиданной спутницы и задержки, отодвигавшей момент вожденного отдыха, почувствовал слабый, бодрящий импульс. Видимо, в этот цветущий, по-летнему праздничный вечер ему не очень-то хотелось оказаться одному в своем большом, всегда содержавшемся в стерильной чистоте усилиями приходящей работницы доме. К тому же улица, названная девушкой, находилась совсем рядом с его домом, да и больная нога студентки обязывала врача... «Ах, что за церемонии! – Вернеру не хотелось заниматься самоанализом. – Подумаешь – пустяк!»

Они направлялись к загородному шоссе, пересекая тихие, готовые к ужину райончики с уютными коттеджами, зелеными лужайками и оживленными детской возней скверами. Девушка что-то объясняла извиняющимся голосом, безуспешно пытаясь натянуть на колени подол узкого платья. Вернер понял лишь, что она остановила его по крайней необходимости, которой весьма смущена, а также крайне тронута его любезностью. Он видел в зеркальце простодушное, открытое лицо под копной пушистых, слегка отливающих медью волос, по-детски припухший тупой носик, слышал, как гремят ее подобранные в цвет платья пластмассовые браслеты, падая к запястью, когда она наклонялась, чтобы растереть ушибленную лодыжку, ощущал слабый запах духов и начинал понимать, что ему очень не хочется высаживать свою случайную спутницу.

– Я очень благодарна вам, профессор, – мило улыбнулась Ванда, уже стоя на дорожке возле необходимого ей дома.

Вернер с секунду наблюдал, как удаляются по гравию, изредка подкашиваясь, тонкие каблучки, профессионально отмечая напряжение икроножных мышц. И вовсе не собираясь делать этого, а повинаясь какому-то стихийному импульсу, он вдруг окликнул удалявшуюся девушку:

– Фройляйн Ванда, если у вас не долгий визит... Я думаю, с вашей травмой... не стоит... Я мог бы подождать вас...

Вернер чувствовал, что какая-то сила несла его помимо воли, и не хотел сопротивляться ей – искушение казалось ему не серьезным. Этот жесткий человек, считавший, что никогда не теряет голову и не поддается эмоциям, недооценил ситуацию.

Людвиг Вернер вдовствовал уже более пятнадцати лет, существуя в самодостаточном одиночестве и растрачивая все силы души и тела в возглавляемой клинике. Коллеги Вернера женского пола, обнадеженные поначалу его завидным холостяцким положением и веским именем, делали более или менее активные попытки покончить с одиночеством шефа. Но вскоре признавали поражение – сдержанность Вернера противостояла самым активным домогательствам. Правда, дело было не только в исключительной силе воли, как думалось

самому Вернеру, просто чувства этого с головой ушедшего в свое дело мужчины, долгое время контролируемые и подвергаемые жесткой муштре, не отличались бурными взлетами. Редкие встречи с постоянной «дамой сердца для головы», как она себя называла, намекая на рациональность их связи, были для обоих скорее привычным ритуалом, нарушать который не хотелось более из какой-то суеверной боязни, чем сердечной привязанности.

Ванда старательно подготовилась к нападению, собрав исчерпывающую информацию, и рассчитала все: и версию с заболеванием племянника, якобы соседствующего с Вернером, и травму ноги, и свой образ наивной милашки-простушки, в котором и выступила в тот решающий вечер. Она выбрала платье достаточно яркое и сексапильное, чтобы привлечь равнодушный взгляд усталого мужчины, и достаточно юношески-небрежное, чтобы не показаться искушенной и легкомысленной искательницей приключений. Она почти отказалась от привычной дозы косметики, придав своему лицу свежесть и обаяние милой некрасивости: тон загара с легким природным румянцем фирмы «Max Faktor», удлиненные, без перебора, тушью ресницы и слегка очерченные губы – все это должно было выглядеть вполне натурально, разве что – чуть-чуть лучше. Мягкие кудряшки небрежно взбиты таким образом, что не разберешь – чего больше в ее прическе – умения или небрежности. Ванда знала, что запах хороших духов производит сильное действие даже на тех, кто искренне считает себя полным невеждой в парфюмерии или даже ее противником. Ненавязчиво-вкрадчивый, он действует исподтишка, создавая ауру смутных ассоциаций, намеков – то ощущение чувственного комфорта, которое фиксирует подсознание.

Словом, Ванда, караулящая «опель» Вернера в уединенном и живописном месте большого парка, была именно такой, какой ее создала бы природа, не пожалей она затратить еще немного дополнительных творческих усилий на свою, не слишком избалованную вниманием, «поточную продукцию».

Когда она тем же вечером прощалась с Вернером у дома, где снимала небольшую комнату, надежда, что жизнь наконец-то обрела нужное направление, засияла с новой силой.

Ванда не ошиблась. Ей пришлось приложить еще совсем немного усилий – пару раз попасться на глаза профессору в выгодной ситуации, «случайно» оказаться у ворот клиники как раз на его пути домой, и отказаться зайти к нему «на чашку кофе» именно в тот момент, когда Вернеру особенно не хотелось расставаться с ней. Ванда чувствовала свою женскую власть и сумела выгодно распорядиться ею.

Когда наконец она позволила себе принять приглашение и осталась один на один с Людвигом, роль пошла как по-писаному. Он видел в ней девушку из приличной семьи с моральными принципами и жизненными целями, но игривую, полную жизни, окрыленную первой, захватывающей влюбленностью. Ванде еще не приходилось пылать той огромной всепоглощающей страстью, которую она видела в кино или встречала в романах. Но она знала, что главные ноты в ее игре – преклонение и восторг перед своим избранником. Вернер и вправду нравился девушке, представляя тип преуспевающего, значительного мужчины, и она искренне восхищалась им, подолгу выслушивая подробности его хирургического рабочего дня. Она всегда готова была принять его совет и подсказку, ловила его малейшие желания и не упускала случая, чтобы появиться рядом.

Ванда часто оставалась в доме Людвига на уик-энд, выполняя обязанности хозяйки. С удовольствием стряпала, наводила чистоту, мечтая о том времени, когда эта роль наконец приобретет формальные обоснования. Вернер, извлеченный из привычного одиночества, и не предполагал, что так нуждался в чьем-то обществе. Присутствие в доме оживленной заботливой малышки стало для него привычным, но мысль о браке не приходила в голову, вернее, он не хотел принимать ее всерьез. Ванда незаметно вошла в его жизнь, подчинилась его ритму, сложившимся привычкам, не требуя ни особых забот, ни внимания, – удобное и совершенно необременительное приобретение. Но Ванда в роли жены и хозяйки

дома с детьми, семейными праздниками, путешествиями, приемами – вся эта перспектива постоянных хлопот и ответственности казалась Вернеру чересчур обременительной.

Ванда делала легкие попытки направить ход мысли Людвига в нужное направление. Поняв, что цель не приближается, решила наконец поднажать.

6

Случай подсказал ей удачный стратегический ход, банальный и верный, как слабительное средство: она решила дать понять Вернеру, что принадлежит не ему одному. Алекс Гинзбург – разгильдяй и лоботряс, единственный наследник завидного состояния – временами посещал занятия и даже каким-то образом умудрялся двигаться по учебной лестнице. Сталкиваясь с Вандой на вечеринках в студенческом кафе «У Гиппократа», Алекс не пропускал случая, чтобы не наградить Ванду, преданно заглядывающую ему в глаза, многозначительным комплиментом. Конечно, Ванда не была столь наивна, чтобы принимать их на веру: к Алексу невозможно было относиться серьезно, а рассчитывать на него как на потенциального жениха вообще не приходилось. Но в качестве предмета возбуждения ревности одиозная фигура плебоя вполне могла сгодиться.

В самом начале сентября, спустя почти год после того вечера, когда Ванда подсела в машину к Вернеру, она решила пойти ва-банк. Погода стояла не по-осеннему жаркая, поэтому на первой же студенческой встрече возникла идея загородного пикника. Алекс получил в подарок от отца новый огромный открытый автомобиль и изъявил желание прокатить всех за город, а Ванда, вовремя подхватив инициативу, предложила навестить ее «семейную усадьбу» – благо в этом году их абрикосовый сад буквально ломился от небывалого урожая. Тут же подобралась компания с расчетом на вместимость автомобиля, хотя желающих, даже с собственными транспортными средствами, оказалось гораздо больше. Но Ванда, сославшись на ограниченные возможности их крохотного дома, решительно ограничила круг приглашенных. Главное – Алекс, в приложение к которому пришлось взять его занудного дружка Динстлера, проживающего непонятно какими молитвами в доме Гинзбургов, и парочку Юрген – Марта, также состоящую при Алексе.

Ранним субботним утром вся компания катила по южному шоссе среди свежего жизнерадостного пейзажа. Предстояло провести два часа в пути, и все удобно разместились на мягких кожаных сиденьях, побросав в багажник спортивные сумки. Рядом с водителем села «хозяйка бала». В пышной цветастой юбочке и ярко-малиновой тонкой «макаронке» в обтяжку с огромным вырезом, позволяющим показать то одно, то другое загорелое плечо, Ванда выглядела отлично. На свежеподкрашенных хной кудряшках трепетала шифоновая косынка в тон блузке, на запястьях позвякивала дюжина тоненьких серебряных браслетов, такие же кольца покачивались в ушах, навеяв мысли о таитянках и экваториальном температурном режиме. Ванда и впрямь решила в этот уик-энд затащить Алекса в постель – хоть это его, конечно же, ни к чему не обяжет, но позволит им перейти на более короткую ногу. Слухи не преминут расползтись по факультету и достигнут, как надеялась Ванда, ушей Вернера. Поглядывая на профиль своего кавалера, небрежно крутившего массивный руль, Ванда позволила себе расслабиться.

Вот точно так катила бы она среди этих садов, аккуратных полей, нарядных, утопающих в цветах деревенок, катила бы на шикарный курорт, где уже ждал бы номер люкс пятизвездного отеля, заказанный для г-на и г-жи Гинзбург, или Вернер... Если бы, если бы... А впрочем, чем черт не шутит? Чем лучше ее эти фрау в сверкающих лимузинах, проносящихся мимо с детьми и собаками, с фургончиками-спальнями на привязи. Кружевные занавески на окнах, велосипеды или серфинги на крыше – счастливый семейный отдых обыкновенных состоятельных людей. Бодрящий воздух, бьющий в лицо, голос Пресли, несущийся из магнитофона под веселое посвистывание Алекса, действовали на Ванду, как бокал шампанского. Она почувствовала себя раскованной, привлекательной, небрежной, скопировав позу, замеченную только что в низком открытом спортивном авто: девушка, сидящая рядом со своим парнем, низко сползла на сиденье, задрала ноги на щиток автомобиля.

Колени изящно закинутых ног оказались чуть ли не у локтя Алекса, и девушка могла бы поклясться, что это выводило парня из равновесия. О сидящей сзади тройке ездоки почти забыли, эти статисты на празднике не стоили особого внимания. Их роль состояла в том, чтобы наблюдать, подмечать, а после – разболтать все как можно скорее и живописнее.

Словом, это была чудесная поездка, и Ванде, уже предвкушавшей триумф, не пришло бы и в голову, что всего сутки спустя все так неизменно переменится – дорога, ее спутники, она сама.

Родители Ванды, предупрежденные заранее, были очень гостеприимны, наведя в доме и саду выставочный порядок и подготовив стол для обеда прямо под тяжелыми абрикосовыми ветками. Обед и вино были, наверное, отменно прекрасны, во всяком случае так казалось Ванде, замечавшей необычное оживление Алекса и чувствовавшей себя в центре происходящего. После еды бегали к озеру, собирали абрикосы в большие плетеные корзины, бросаясь наиболее спелыми и треснутыми, когда есть больше уже было невозможно. И наконец наступил вечер, игравший в плане Ванды решающую роль. На отшибе дворового хозяйства стояла небольшая деревянная постройка с высокой соломенной крышей. Чердак, заваленный сеном, с детства был любимым местом уединения Ванды. Сюда она и задумала совершить экскурсию с Алексом, уже намекнув ему, что вечером намерена показать ему нечто памятное. Быстро переодевшись в ситцевый пестрый сарафан, застегивающийся снизу до верху большими пуговицами, что чрезвычайно удобно при известных обстоятельствах, Ванда поджидала своего кавалера. Но Алекс куда-то запропастился. Уже начало смеркаться, а Ванда, оживленно болтавшая с Мартой, все чаще и чаще тревожно поглядывала по сторонам.

– Где же наши мальчишки? – наконец спросила она Марту.

Девушка удивленно вытаращила на нее глаза. Но Ванда не уловила многозначительности.

– Пора устраиваться на ночь. Я думаю, комната Юргена должна быть поближе к твоей, – подмигнула она приятельнице.

Марта насмешливо посмотрела ей в глаза и поправила:

– Поближе к Алексу, а лучше – прямо вместе с ним.

Ванда не хотела понять услышанное, и Марте пришлось подробно растолковать ей то, что уже давно знали чуть ли не все: представительницы женского пола Алекса интересовали мало. Сюда же он и задумал отправиться только для того, чтобы охмурить бледного, девически хрупкого Юргена, с кем и пропадал неизвестно где уже два часа.

Ванда не заметила, как оказалась возле своего убежища – сеновала. Она не могла сдерживать слез обиды и намеревалась наплакаться вволю – за все: за несбывшиеся надежды, за высокомерную Мици, зануду Вернера, за гаденыша Алекса и нарядных куколок в дорогих машинах, за свои трудные, невезучие двадцать пять лет. Лестница уже была приставлена, и Ванда, сотрясаемая рыданиями, вмиг оказалась на чердаке. Рухнув в мягкое, пахучее сено, она предалась своему горю, прекратив упиваться страданиями только тогда, когда колючие стебли под коленями и локтями слишком бесцеремонно напомнили о себе. Ванда села и тут же услышала робкий голос:

– Прости меня, я не хотел подсматривать. Я оказался здесь случайно, просто хотелось побыть одному. Здесь так хорошо. С этой стороны видно озеро и Альпы, это почти так же, как с чердака моего дома. Хотя и совсем с другой стороны. И пахнет точно так же, как и пятнадцать лет назад... Мне почему-то именно сегодня стало страшно за свои двадцать шесть, полжизни куда-то вылетело – а куда, зачем? И что дальше? – Йохим прервал свою неожиданную речь и пояснил: – Темно, я не вижу тебя и поэтому болтаю всякий вздор... Иногда бывает тоскливо... Извини, я сейчас уйду. – Он хотел подняться.

– Погоди...

Ванда тоже не видела его, не видела этого невыразительного лица, навевающего скуку, понурой фигуры неудачника. Она слышала только его голос – мягкий, сочувствующий. Ее руки начали расстегивать верхние пуговицы халатика, под которым не было ничего. Сено зашуршало, что-то грохнуло, и Йохим почувствовал рядом с собой горячее дыхание, к его плечу прижалось нечто теплое и мягкое. В считанные секунды с его головой, душой и телом произошло то, для чего, как ему казалось, необходимы долгие дни привыкания, вдохновения, влюбленности. Время не понадобилось, так как не понадобилось и длительного преобразования Йохима. В кольце Вандиных рук, прильнув губами к девичьим губам, задышался от бешеного волнения совсем другой человек. Для этого парня, отчаянно срывавшего с себя одежду свободной рукой, ничего не имело значения: ни случайность этой сцены, ни отсутствие какой бы то ни было симпатии к своей партнерше, ни даже близость людей, могущих всякую минуту оказаться здесь. Объявись кто-нибудь рядом с взведенным курком, Йохим не оторвался бы от Ванды, не отказался от этих обрушившихся внезапной всесокрушающей лавиной ощущений. Только одно, только одно-единственное событие, одно-единственное чувство и есть в этом мире. И оно правит всем... Боже, почти смерть. Но какое блаженство...

Переполненный своим открытием, Йохим лежал на влажном плече Ванды. Где-то стрекотал сверчок, на шесте под потолком возились, трепеща крыльями и воркуя, голуби, в воздухе сиропом разливался сладкий абрикосовый аромат.

В квадрате открытой двери чернело огромное, усеянное звездами небо. Йохим боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть наваждения. В его душе только что открылся новый, неведомый ранее мир, в огромных владениях которого предстояло обжиться, освоиться. Ванда приподнялась, куда-то потянулась, и на грудь Йохима лег тяжелый абрикос. Они стали молча жевать сочные сладкие плоды, стреляя в дверь ребристыми косточками.

– Здесь несколько корзин, – сказала, поперхнувшись соком, Ванда, – нам хватит на месяц.

Но ей не хотелось здесь быть больше и часа. Это странное сближение, в порыве горькой обиды, неопытность и неуклюжесть ее случайного партнера лишь усугубляли ощущение неvezучести и неудачи.

Когда на следующий день, помятая и сильно сникшая, компания рассаживалась в автомобиль, Ванда сказала, что хочет сесть сзади, чтобы поболтать в дороге с Мартой, а Юргену лучше поехать с Алексом. Но Юрген тоже нашел какой-то предлог для отказа, и рядом с помрачневшим водителем пришлось ехать Йохиму. Ему-то было все равно. Более, чем сама Ванда – виновница его преобразования, Йохима волновали те драгоценные впечатления, которые он берег в себе, не в силах сразу проанализировать. Он чувствовал, что никогда уже не станет прежним, но не мог понять, каков он есть теперь. Как ребенок, вертящийся и так и этак в полученной обнове и подмечающий оказанное впечатление, Йохим жаждал испытать себя – нового, преобразенного.

Когда Алекс притормозил у придорожного ресторана, чтобы купить чего-нибудь освежительного, сбегать за провизией и питьем вызвался Йохим. И он действительно упрямился за пару минут, притащив сандвичи, упаковку пива и две бутылки пепси. Он ничего не уронил, а, напротив, подхватил на лету коробку, выскользнувшую из рук подросшего на помощь Юргена. А то, что Йохим успел пережить в эти короткие минуты, было совершенно непередаваемо. Его эйфорическую приподнятость можно было определить словами – «свобода» и «легкость». Именно они раньше давались ему с трудом, со скрипом, с хрустом придавливаемых комплексов. Теперь все шло само собой, без заминки и раздумий, – движения, слова, поступки – жизнь летела, будто спущенная с тормозов.

7

Теперь все пойдет совсем по-другому – чувствовал Йохим, начиная последний университетский год. С этим ощущением скрытого торжества, с внутренним сиянием, казалось преображавшим все вокруг, застыл он на его пороге, оценивая произведенный эффект. Так новый актер, впервые выйдя на сцену в старом спектакле и рассчитывающий уже с порога сорвать аплодисменты, с удивлением обнаруживает привычно дремлющий зал.

Никто не заметил перемены Йохима, и, самое главное, ее не заметила даже Ванда. Тогда, на чердаке в теплую полночь, он сразу предложил ей руку и сердце – иного и не могло быть. Ванда как-то отшутилась, обещая подумать. Но теперь, в привычной суматохе учебно-рабочих обязанностей, она не только не искала встречи, а, казалось, избегала его.

А к Рождеству измучившийся Йохим вдруг получил приглашение от Ванды провести каникулы вместе. Конечно же, он не мог и представить себе, что этому счастью был обязан пустяшной случайности, мимолетной обмолвке. Тяжелым ноябрьским вечером, вернувшись домой после двух операций по заваленному небывалым снегопадом шоссе, Вернер сказал ожидавшей его Ванде: «Этот парень знает откуда что растет». И еще добавил, что ни разу не встречал ничего подобного и что надеется заполучить странного студента Йохима Динстлера на следующий год в свою клинику. Ванде не надо было повторять дважды, на какую лошадку делать ставку, тем более что особого выбора у нее не было. Роман с Вернером зашел в тупик и, хотя имел несомненную практическую пользу для устройства будущей карьеры, в личной жизни перемен не сулил.

Рождественские праздники, таким образом, Йохим провел вместе с Вандой у своей бабули, заняв огромную кровать в пустующей спальне. После смерти мужа Корнелия старалась не подниматься на второй этаж, где все напоминало о ее прошедшей семейной жизни.

Вернувшись в Грац, Ванда и Йохим сняли комнату с маленькой кухонькой, выходящей прямо в сад, и стали жить вместе, строя основательные планы на грядущее лето.

Йохим не знал, был ли он влюблен, наверное, не был, если определять это состояние его былыми критериями. Теперь они не имели никакого значения, как не имели значения те смутные ожидания, предсказания, сберегаемые для так и не состоявшегося «беловика» его жизни: намеки типа жасминного Шопена, золоченной солнцем девочки на берегу и прочей подростковой чепухи, по-видимому, никакого отношения к реальности не имевшей. Бойкая Ванда, целиком и прочно обосновавшаяся рядом, накручивающая вечерами жидкие пряди на резиновые бигуди и не имевшая ни малейшей склонности к поэтическим умонастроениям, стала частью жизни Йохима, той реальности, которую и следовало воспринимать со всей серьезностью и ответственностью.

Йохим был сильно удивлен, когда, разместившись в теплых Вандиных объятиях, вместе со всем своим багажом наблюдений и размышлений, любимых цитат, картинок, воспоминаний, наткнулся на мертвую тишину: девушка спала и ничто из самого дорогого и сокровенного йохимовского достояния, щедро брошенного к ее ногам, не тревожило мерного, спокойного дыхания.

Слияния душ не произошло. Да и так ли это важно, если тело... Йохим, уверенный, что в этой сфере их союз состоялся, обретал все большую уверенность.

А Ванда? Она просто жила кое-как и была, в сущности, совсем несчастлива. Встречи с Вернером продолжались, хотя стали совсем редкими и чуть ли не чисто дружескими. Роман с Йохимом обнадеживал хоть какой-то перспективой, но не окрылял. Ванда не торопилась к венцу – ей надо было вначале точно установить профессиональную цену ее жениха. Поэтому-то она употребила все свое влияние, чтобы заставить Йохима отказаться от намерения получить, как он намеревался вначале, специальность психотерапевта.

Окончив общий курс занятий в университете и получив диплом доктора медицины, Йохим предполагал специализироваться в психиатрическом отделении. Он серьезно углубился в специальную литературу и даже прочел пару романов русского писателя Достоевского, получивших известность глубиной психоанализа.

Но Ванда чувствовала, что, пристроив жениха под покровительство Вернера, видящего в Йохиме незаурядные способности к хирургии, обеспечит более надежный вариант его профессиональной карьеры. И потому Йохим, продолжавший еще, несмотря на приобретенный больничный опыт, испытывать рвотные спазмы и головокружение при виде развороченных ран, оказался у операционного стола в клинике черепно-лицевой хирургии. Он надеялся, что скоро докажет свою непригодность и будет благополучно списан в менее кровавые медицинские подразделения.

Клиника Вернера, являвшаяся, по существу, частной, работала сразу в двух направлениях – экстренной хирургической помощи, оплачиваемой медицинским страхованием, и лечебного стационара, куда попадали лишь очень состоятельные пациенты. Естественно, набивать руку неопытного стажера на больных второй категории не предполагалось – здесь требовался незаурядный опыт и участие лучших профессиональных сил клиники, пользовавшейся отличной репутацией. Йохиму, согласно установившейся традиции и закону гуманности, предоставлялось испытать себя лишь в заведомо безнадежных случаях.

Присутствуя на операциях Вернера и следя за его виртуозной работой, Йохим все более углублялся в тонкости хирургической практики, научившись относиться к манипуляциям с живой человеческой плотью как чисто абстрактным головоломкам. Подобно опытному шахматисту, он просчитывал партию на много ходов вперед, радуясь тому, что часто предвосхищает действия самого Маэстро. Но, оказываясь в роли ведущего с инструментами в руках, Йохим сникал. Он чувствовал, что его интерес, являющийся как бы допингом в роли наблюдателя и стимулирующий его фантазию, при самостоятельных действиях, резко падает, оставляя его мозг вялым, а руки ватными.

Йохим просто не знал, что, склоняясь над телом обреченного, бывает парализован заведомой безнадежностью ситуации.

Однажды ему повезло. В клинику был доставлен крепкий мужичок прямо с лесопилки, где могучий сосновый ствол, неудачно приземлившись, разворотил ему половину черепа. Уже поверхностный осмотр показал, что больной является прямым кандидатом в морг. Но сильное сердце билось, легкие дышали, и к делу приступил Йохим. Обычно он старался не дать себе возможности увидеть что-либо, кроме оперируемой части, как бы отвлекаясь от личностного, человеческого, неизменно приводящего его к приступам слабости. Но на этот раз, оказавшись случайно в приемном отделении, он успел разглядеть все: огромное сильное тело в пахнувшей бензином брезентовой робе, залатанные шерстяные носки, руку с черной порослью кудрявых волосков, мозолистую и грязную, бессильно падающую из-под окровавленной простыни. Вместо головы на носилках лежала окровавленная мясная туша с торчащими из нее клочьями густых смолянисто-черных волос. Парень был, по-видимому, немногим старше Йохима.

Склонившись в ярком свете ламп над уже подготовленной операционной площадкой, зияющей кровавым разворотом в стерильной простынной раме, над всем этим хаосом из костей, сосудов и мышц, Йохим отчетливо увидел картину, мимоходом ухваченную им в приемной и теперь предательски подsunутую воображением. Он на секунду прикрыл глаза, ожидая неизбежного головокружения, но почувствовал злость, острую ненависть к слепой, стихийной силе, которая искромсала этот образцовый человеческий экземпляр так старательно, любовно выделанный в небесной мастерской.

И он, всегда чувствовавший себя изгоем, пасынком природы, принял этот вызов, вступив в поединок с обнаглевшей всесильностью случая, с разрушением и тленом, посягнувшим на цветущую, полнокровную жизнь.

Его приподняла и понесла на своих легких крыльях загадочная сила. Шоковый ли выброс адреналина или могущественная поддержка свыше были тому причиной, но Йохим работал как бог. Бригада врачей, сестер и анестезиологов, находящаяся в операционной, полностью подчинилась мощной воле хирурга, творя невозможное. Никто не заметил, как прошло четыре часа. Все это время человек, лежащий на операционном столе и уже дважды умиравший и возвращенный к жизни врачами, «запускавшими» останавливающееся сердце, был во власти Йохима, восстанавливающего разрушения и чувствующего себя соавтором природы.

Пациент Йохима выжил, поразив больничный персонал невероятной волей к жизни и силой характера. Уникальность же работы хирурга вызывала сомнение: а была ли так серьезна травма и не померещилась ли всем эта фантастическая битва Йохима? Но профессор Вернер не умел обманываться. Наблюдая за своим протеже, он сразу подметил: степень возможностей этого парня предопределяется неким состоянием «куража» – эйфорической приподнятости, в которой он, сам того не подозревая, мог творить чудеса. Йохим был от природы наделен редким «чувством материала», позволявшим ему каким-то особым чутьем определять степень повреждения тканей и тактику их устранения, угадывая те единственно возможные пути, которые открывались в каждом отдельном случае. Имел ли он дар подключаться к всемирному информационному полю или вспоминал опыт предыдущих жизней – пусть размышляют люди, склонные к мистике. Вернер лишь видел, что часто Динстлер мог соперничать в тонкостях мастерства с ним самим. Но в состоянии упадка сил и вялости, являвшихся для парня скорее нормой, чем случайностью, он уступал самому заурядному малоопытному хирургу-очереднику. К сожалению, Йохим не умел управлять вдохновением, а позволить себе ошибки и провалы хирург права не имел. Эти соображения мучили Вернера, когда он решал вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания доктора Динстлера в его клинике. Специализацию Йохим завершил, получив полномочия к хирургической деятельности, но Вернер хорошо понимал, какие трагедии сулит новоиспеченному специалисту будущее.

– Он у тебя артист, пойми же, – говорил Вернер Ванде, – блестящий, редкий артист, который может быть виртуозом и мясником в зависимости от того, как посмотрит на него Вдохновение. Но здесь не сцена, и речь идет не о тухлых яйцах в наказание за фальшивую ноту. Платить за неудачи здесь придется дорого, очень дорого, – совестью, репутацией, карьерой, возможно даже – собственной жизнью.

Сидя в гостиной Вернера, они решали участь Йохима. Остановились на компромиссном варианте: впереди лето, а следовательно, законный отпуск. С августа Йохиму будет предоставлена должность ассистента в отделении травматологии с испытательным сроком на полгода. Дальнейшее покажет судьба.

Так и решили. Ванда уже работала в лаборатории фармацевтической фабрики и могла взять недельный отпуск для свадьбы и небольшого путешествия, Йохим же отправился навестить бабушку, чтобы к 20 июля вернуться в Грац и уже вместе со своей женой совершить небольшое турне по озерным местам, навестив попутно «абрикосовое имение» Леденцев. Все складывалось совсем неплохо, открывая перед молодоженами если и не радужную, то вполне надежную перспективу.

Глава 4 Дани

1

Йохим распахнул окно в гостиной и облокотился на подоконник, жадно втягивая запах сирени, мокнущей в мелком морозящем дожде. Белые махровые, тяжелые гроздья, лиловые – турецкие с мелкими остроконечными звездочками, бледно-сиреневые четырехлепестковые, чьим редким пятилистником владеет Фортуна, – эти соцветия, погрузневшие от воды, источали вкрадчивый, убаюкивающий аромат. Было тихо, лишь по веткам и жестяному карнизу барабанили капли. Приятно-неопределенные, ленивые мысли текли плавно, путаясь и тая, будто вальсируя в нежном, сгущающемся сумраке.

Внезапно что-то хлопнуло, зафыркало, зашуршало по гравию. Скрипнула автомобильная дверца, и, прежде чем Йохим вынырнул из своей полудремы, под окном закричали:

– Господин доктор! Необходима срочная помощь! Я сдохну прямо здесь, в луже, если не увижу вашу ученую физиономию!

На крыльце, смахивая воду с макушки, стоял Дани. Друзья бросились друг другу в объятия, пытались уже телами ощутить происшедшие изменения. Загорелые, мускулистые руки Дани поглаживали спину Йохима, сутулую и теплую, в мягком вязаном пуловере покойного деда, а настороженный нос доктора ловил незнакомый запах одеколона, исходившего от мокрой щеки с недельной колкой щетиной.

Вот они снова вместе и нет никакой неловкости, никакой виноватой заминки, которой опасался Йохим.

Переписка заглохла еще года четыре назад, и они, в сущности, потеряли друг друга, с неожиданной легкостью освободившись от тех уз, которые казались пожизненно-нерасторжимыми.

– Какая же это, в сущности, ерунда! Есть вещи, которые уже нельзя, просто невозможно испортить... – думал Йохим, не ожидая, что мыслит вслух.

– Конечно же, старина, есть наш Везувий и тевтонец на Росинанте – это же нетленка! – подхватил Дани. – Пусть их уже трижды растоптали бесчувственные к большому искусству акселераты. В нашей памяти они вечны!

Устроившись на диване в гостиной с рюмками домашней вишневки, друзья пристально оглядывали друг друга. Йохим изумленно таращил глаза на темную шевелюру Дани, сменившую знаменитые золотисто-русые пряди.

– Как это у тебя получилось? – наконец вымолвил он.

– Ты про волосы? – Дани отбросил со лба длинную прядь. – Понимаешь, проснулся утром после нашего проигрыша итальяшкам, глянул в зеркало – и аж сел. Вот тебе, думаю, и футбол!

– Дани... – Йохим недоверчиво покачал головой. – Я знаю точно – так не бывает.

А тот уже хохотал, довольный розыгрышем.

– Не пугайся, Ехи, со мной все в порядке. Недавно выкрасили для съемок. Ты что, совсем не замечаешь, я – вылитый Аллен Делон, только масть не совпадала... Ах ты, австрийская провинция, неужто не видел «Рокко» Висконти? Ага, узнал! Вот – перед тобой – звезда!.. Ну – копия. А может быть – восходящий оригинал. Во-первых, я моложе и у меня все еще впереди. Во-вторых, у меня родословная лучше. Он, говорят, сын мясника, а я – молочника, что более благородно.

– У тебя, Дани, вечно знаменитости в роду. Вот ведь везуха, не какие-то там типы из рубрики «Их разыскивает полиция» или скромные медработники, а все сплошь любимцы публики!

– А вот ты, по-моему, сильно смахиваешь на профессора Фрейда. – Дани весело разглядывал друга.

У Йохима появились очки, делавшие его солидным; застиранный вязаный пуловер и толстые теплые носки выглядели уютно. Темные, мягкие волосы, по-прежнему падавшие на лоб и довольно неухоженные, торчали за ушами и на тонкой худой шее.

– Мой отец увидел Корнелию в городе, и она сказала, что ты здесь. Представляешь, везение – ведь я заскочил всего на три дня... – И Дани без пауз выложил сразу все, что положено было знать близкому другу.

Йохим, потеряв надежду разобраться в деталях, ухватил основное. Мать и отец Дани давно расстались, и теперь у него есть мачеха, клевая девчонка, хотя и деревенщина. Маман, все еще хворающая, живет на Ривьере у бабушки Дани, то есть у своей матери. Дани уже получил приличный гонорар за съемки первого киноролика, подвернувшегося ему благодаря участию друга-покровителя Остина Брауна.

– Вообще, Остин – суперделовой, может все. Теперь его яхта на неделю в моем распоряжении, и я думаю вместе с Сильвией совершить маленькое свадебное путешествие. Нет, жениться пока не собираюсь, да и Сильвия замужем, но у нас закрутилась такая история после «Ромео и Джульетты»... Нет, Сильвия не актриса. Она – лучшая попка в «Раю». «Парадиз» – название шикарного варьете на Лазурном Берегу (для тех, кто не знает). Но она обещала все бросить и отчалить со мной на яхте. Нет, плавать мы будем, конечно, не в одиночестве – какая тусня без компании?... – Дани внезапно остановился и ухватил Йохима за руку: – Ты-то, старикан, как? Сидишь, отмалчиваешься, скромник. Наверное, уже профессор. Спасает психов? Старому другу – прием вне очереди: заметил, у меня совсем крыша поехала?

Йохиму пришлось разочаровать друга, объяснив, что психотерапевт из него так и не получился, зато он режет, и не менее удачно, чем легендарный Джек-потрошитель – редко кому удастся спастись. А через десять дней он возвращается в Грац, чтобы сочетаться законным браком, так как уже больше года проживает с Вандой вполне семейно.

– Слушай, дружище, – на безупречном лбу Дани собрались задумчивые морщинки, – объясни мне, пожалуйста, как это ты понял, что надо сочетаться браком именно с этой, а не с другой? Чем она оказалась лучше?

– Других пока не было, – внес ясность смутившийся Йохим.

– Ага-а-а, – протянул Дани, – если в двадцать пять у тебя первая женщина, а в двадцать шесть – она же единственная, то надо непременно жениться. Более того, есть определенная уверенность, что ты не станешь многоженцем, а также что до второго брака с такими темпами ты просто не дотянешь... И знаешь что, Ехи... – Дани что-то смекал и подсчитывал, – у меня есть идея получше, чем каникулы у бабушки. Поскольку мне явно не придется удостоить тебя чести быть свидетелем на свадьбе, прихватив букет с лентами, а главное – гульнуть на традиционном мальчишнике, я забираю тебя с собой. Недельный мальчишник с юными француженками на теплой лазурной волне – мой подарок. И никаких возражений. Сейчас ты оторвешь свой костлявый зад от этого дивана, поползешь до калитки – и все решится самой собой.

Дани пропустил Йохима вперед, наблюдая за его реакцией.

В густых сумерках за кустами сирени перламутром мерцало нечто большое и белое. Новенький автомобиль спортивного типа был похож на крепкого мускулистого скакуна, готового сорваться с места. Казалось, ему не терпится покинуть эту тихую узкую дорожку, рвануть во весь опор на просторы скоростного автобана.

– Мой новый дружок, – ласково коснулся Дани усыпанного дождевой россыпью крыла. – Послезавтра со скоростью двухсот километров в час мы умчим тебя к лазурным берегам, старина Ехи. И никаких, никаких «но».

* * *

Когда наступило обещанное «послезавтра», Йохим бросил в багажник свой легкий клетчатый чемодан, чмокнул в щеку перекрестившую его вслед Корнелию, и уже распахнул было дверцу автомобиля, но круто повернулся и направился к дому. Вытянувшись во весь рост у садовой ограды, он сорвал маленькое соцветие сирени с верхушки старого куста, где кисти были совсем еще свежими, и отпрянувшая ветка окатила его мелкими брызгами. Зажав крохотный цветок зубами, Йохим откинулся на сиденье и закрыл глаза. Чем объяснялся этот сентиментальный жест отбывающего? Наверное, легкой маею в самом центре груди, где что-то жало и ныло без всякой на то причины: вот уж пустяк – недельный отдых во Франции, сущая ерунда – забавный эпизод. Но то, что ныло в груди Йохима, что заставило его прихватить с собой этот талисман – влажную сиреневую звездочку, знало наверняка – происходит нечто чрезвычайно важное – в игру вступила наконец сама Судьба.

Какой же это пустяк, если случайно протянутая рука вытаскивает из колоды джокера? Сам не подозревая того, Йохим покусывал и мял губами редкий пятилепестковый цветок...

2

– А что, если мы слегка обогатим твой гардероб, Ехи? Ну, скажем, несколько сместим его в южно-курортном направлении? – небрежно предложил Дани, притормаживая у одного из центральных магазинов.

Витрины, выглядевшие очень солидно, демонстрировали не только дорогой, небрежный стиль курортного оснащения – костюмы, сумки, шляпы и обувь, но и хорошего дизайнера: все это великолепие в светлых – соломенно-белых – тонах было разбросано среди снопов натуральной кукурузы, увязанных толстыми джутовыми веревками.

– Ты уверен, что меня нельзя показать в твоём обществе без этого прикида? – спросил Йохим, удивив друга пронизательностью.

– Ладно, сдаюсь, Ехи. Если уж честно – ты натуральное чучело. И раз уж тебе настолько все равно, позволь мне заняться тем, что касается лично меня, то есть оформлением твоего «демонстрационного стенда». Обещаю, штанов из черной кожи с заклепками и пестрых шорт предлагать не буду. Я же понимаю, что во всей этой нелепости стариковских сандалий, мешковатых брюк есть свой колорит. Этакое обаяние беззащитности, безразличия к условиям. Именно так надо играть какого-нибудь фанатика ученого.

– Запомни, стилист хреновый, если пренебрежение к внешности и рассеянная чудаковатость означают стиль, то это стиль психа или гения.

– Не сомневаюсь. Только вот что, гений, торжественно предупреждаю: с этого момента – ни слова по-немецки – буду штрафовать. Напрягай свои извилины, вспоминай, ты разговариваешь с французом. – *Ich verstehe deutsch nicht.*

В другом магазине, торгующем в основном для пожилых мужчин вещами уже слегка вышедшими из моды, Дани стал действовать с пониманием дела.

– Мы хотели бы приодеть нашего актера в стиле «ретро», но ненавязчиво, с легким нажимом, – обратился он к продавцу, щедро демонстрируя свою фотогеничную внешность. Тот понимающе кивнул и после долгих переборов в новом большом чемодане Йохима лежал довольно мешковатый летний костюм, жилет ручной вязки с «альпийским» орнаментом, брюки и несколько рубашек, будто извлеченных из дедушкиного гардероба. Сам же «актер», облаченный в легкие штаны из светлой холстины, белые парусиновые туфли и бежевую, послевоенного образца «футболку» из шелкового трикотажа с тоненькой молнией у ворота, выглядел забавно и даже слегка интригующе. Парусиновая же сумка-портфель дополняла картину, оставалась лишь одна деталь. Дани колесил по узким улочкам и наконец остановился под строгой вывеской: «Очки».

– Сколько там у тебя минусов? Ага, уже пять. Ну-ка, примерь это. – Дани снял со стенда окуляры в круглой роговой оправе с мягкими, сильно загнутыми дужками.

– Это еще зачем? Мои такие крепкие! – возмутился потерявший терпение Йохим.

– Пойми, это Цейс и оправка легче. Не будет болеть голова. Да посмотри на себя в зеркало – совсем другой человек! Молодой профессор Динстлер – надежда европейской медицины! – смеялся Дани, наблюдая, как Йохим прилаживает дужки очков длинными цепкими пальцами. «Вот этими-то ручищами этот тип и режет», – подумал он тут же не без удивления. Но Йохим не стал смотреться в зеркало – очки и впрямь были удобней.

Стараясь больше не задерживаться, они пересекли Италию, объезжая крупные населенные пункты и рассчитывая к ужину оказаться в Сент-Поле, где жили бабушка и мать Дани.

Йохим всего лишь раз выезжал за пределы Австрии, совершив небольшое турне по Германии вместе со школой – страсть к путешествиям и перемене мест его не томила. Теперь же, уносясь вместе с другом в неведомые дали, он не испытывал ни волнения, ни особой

радости. Ощущение, что вектор его жизненного пути, уже определившийся, сместился куда-то в сторону, беспокоило и раздражало. Еще совсем недавно в однообразном потоке своей медицинско-обыденной жизни, он тайно томился о навсегда утерянном «беловике» судьбы, полном неожиданных волнений, тревог и каких-то иных, ярких, неординарных, бурлящих кровь впечатлений. Но та жизнь, которую Йохим вел последние годы, в сущности, в полсилы, в полвдохновения, в пол радости, теперь казалась ему уютной и вполне насыщенной. Ни перспектива новых знакомств, ни суэта Дани с его гардеробом не казались Йохиму занятыми. Вместо ожидаемой эйфории от маленького отпускного приключения в компании Дани, он обнаруживал в себе некую подначивающую к резкости раздражительность.

Йохима нисколько не огорчило, что французскую столицу – мечту туристов всего мира – Дани посоветовал на этот раз объехать. Париж еще не утих после майских студенческих волнений. Ежедневно поступали сообщения о новых, зачастую стихийных бунтах и демонстрациях студентов вкупе с примкнувшей к ним разнообразной шушерой.

Дани взахлеб рассказывал о сложившейся ситуации, напрямую отразившейся на театральном деле: многие театры, присоединившиеся к бунтующим, открыто противопоставили себя правительству. Искусство как бы стало в оппозицию к государству, отстаивая анархический бунт, проповедуя сексуальную свободу вместо пуританской буржуазной морали и неустойчивость, зыбкость как способ существования.

– Эх, господин профессор, – сокрушался Дани, – могли бы вы там, в своей глуши, представить, что по американским штатам разъезжают театрики, ну что-то вроде общин хиппи, которые устраивают свои действия где попало – в амбарах, гаражах, подвалах. Вначале зрителям предлагают покурить «травку», потом раздеться, а потом... Ну, как бы это выразиться поделикатнее – торжествует сексуальная революция, так сказать, коллективный протест... Как же вы в Австрии обходитесь без группового секса?

– Все-таки это лучше, чем выпускать кишки или пускать в ход гильотины, – бросил Йохим, с интересом изучая содержимое пакета с провизией.

– А я, видимо, слишком старомоден и, наверное, осторожен, что значит – умен. Меня вовсе не тянет расправиться с «традиционными ценностями» в компании этих немых «детей цветов» и остервенелых «левых», разгромить бабкин бутик со всеми ее шанелями, карденами – «приспешниками разлагающейся буржуазии», измазать дерьмом стены отчего дома и, возглавив какой-нибудь «театр улицы», подбивать сограждан к повальному греху прямо на Каннской набережной или во дворце Шайо... Уф, Ехи, ты даже не представляешь, какой я теперь консервативный, тухлый тип! – Дани перехватил у друга круассан.

– Как раз по мне. – Йохим удовлетворенно жевал сандвич. Бунтарство и социальные страсти вообще мало беспокоили его. Они отвращали, как некая патология, развивающаяся у людей, не способных, как правило, к созидательной деятельности. Его же личными врагами были смерть и разрушение – предательские и незаконные, то есть происходящие вне естественных природных санкций. Социальная позиция Дани возражений не вызывала.

Но для актера, чья карьера находилась в прямой взаимосвязи с «веяниями времени», ситуация, конечно же, была не простой. Окончив актерскую мастерскую в Париже, на пороге двадцатилетия Дани сыграл Ромео в спектакле молодежной труппы, подготовленном для знаменитого Авиньонского фестиваля. Они играли под открытым небом, в естественных декорациях старинного дворца, на подмостках, которые еще совсем недавно прославил Жерар Филипп. Дани стал одной из звезд фестиваля, обратив на себя внимание профессионалов и публики, среди которой оказалась и некая юная студентка-журналистка Сильвия, ставшая впоследствии танцовщицей «Парадиза» и супругой начинающего, но уже известного телерепортера.

Труппа Дани вскоре развалилась, и он уже несколько приуныл, подрабатывая в массовках. Как раз в этот момент в его жизни появился Остин Браун. Тот самый тип, которому принадлежала ожидающая друзей яхта.

3

Началось же все так. Однажды Фанни – так звали бабушку Даниила, сообщила внуку, что некий состоятельный меценатствующий господин намеревается субсидировать производство фильма по интересующему его сценарию и очень серьезно относится к подбору исполнителя. Ему нужен молодой, малоизвестный и обаятельный актер, способный выглядеть на экране не очень профессионально.

Господин Браун, француз немецкого происхождения, ожидал актера в своем доме на острове у побережья Тулона, куда Дани был доставлен ожидавшим его в порту катером.

На встрече, кроме хозяина-мецената, присутствовали еще два человека – режиссер и оператор будущего фильма. После подробной беседы, носившей скорее политически-нравственный, чем профессионально-кинематографический характер, Дани прочел кусок газетного текста под стрекот ручной кинокамеры, что и явилось пробой. И был одобрен на роль ведущего. Дани предположил, что имеет дело с неким шизанутым дилетантом, мечтающим выбросить деньги на ветер. Работа над фильмом, продолжавшаяся более пяти месяцев, целиком увлекла его. Это была документальная лента, повествующая о судьбе политических режимов, ориентировавшихся на коммунистические идеалы. Здесь Даниила, игравшего кинорепортера, ждало много неожиданностей. У героя Дани был реальный прототип – молодой журналист, собравший труднодоступный документальный материал, объединенный под названием «В рубиновых лучах тоталитаризма». И дырочка в оконном стекле у его письменного стола была вполне реальной, как и рана в виске, прервавшая последний репортаж. Этим окном и листом бумаги, торчащим из старой печатной машинки «Мерседес», заканчивался фильм.

А чтобы снять остальные полтора часа, съемочной группе, состоявшей из четырех человек, пришлось здорово повертеться. Неизвестно, как попали эти «Рубиновые лучи» к Брауну, но, очевидно, не просто. Он не скрывал, что не только сами документы, но и их владельцы представляют известный интерес для определенных спецслужб. В фильм были включены любительские кадры, сделанные теми, кто, рискуя очень многим, снял их «за железных занавесом». Интервью из советского сумасшедшего дома, скрывающего инакомыслящих; «праздник урожая» в колонии для антисоциальных элементов, а в сущности – политического концлагеря Острова свободы – Кубы, собрания чешской «творческой интеллигенции», искореняющей из своей среды «чуждые» элементы, и прочие факты, отнюдь не являющиеся достоянием мировой общественности.

Роль Дани, изображавшего кинорепортера, состояла в том, чтобы появляться в кадре на фоне комментируемых событий и связывать отдельные части сюжета небольшими бытовыми зарисовками. Браун старался устроить так, чтобы наиболее рискованные репортажи были сняты отдельно, без участия актера. Каким образом ему удалось получить материалы, осталось тайной, но было ясно, что игра была далеко не детской.

Несколько раз Дани вместе с Остином Брауном и оператором пришлось вылетать в «спецкомандировки», используя фиктивные документы на представителей общества «Мир социализма», снимающих якобы агитационный прокоммунистический ролик. Они побывали на Кубе, в России и Польше, преодолевая правдами и неправдами железобетонные барьеры секретности, перекрывающие всякую утечку информации из этих очагов мировой революции.

– В общем, я кое-что повидал и кое-что понял, – подвел итоги своему рассказу Дани. – К тому же тогда уже на пленке и выяснилось, что я – вылитый Делон, и теперь с осени запускаюсь в комедию, которая должна ненавязчиво пародировать гангстерско-полицейские экранные подвиги этого красавчика. С Остином – мы теперь друзья, и я вполне состоятель-

ный джентльмен, могущий себе позволить и этого симпатягу «рено», и экспериментальные капризы с твоим имиджем. Я богат, чуток, отзывчив и готов выслушать любую шокирующую исповедь школьного друга.

– Ладно, теперь помалкивай. – Йохим сунул в рот Дани сэндвич с сыром. – Пора исповедаться и мне, грешному... Знаешь, Дани, я так до сих пор и не пойму, нравится ли мне жить... То есть: то ли я делаю, что должен был, что мне предназначалось, так ли живу? Куда и зачем я, собственно прущу по этому своему «персональному кладбищу», довольно обширному для года хирургической деятельности... Если честно – моей вины в этом мало, так заведено: начинающему – умирающие. Но знаешь, однажды я почувствовал у операционного стола что-то такое, в чем не разобрался и что мне хочется пережить еще раз. Пережить и наконец поймать... Засечь разгадку... Разгадку собственного могущества.

Йохим рассказал Дани про чудом уцелевшего лесоруба, довольно сбивчиво, местами переходя на немецкий.

– Самое страшное то, что я, ночами просыпающийся в холодном поту от одного и того же сна: больной умирает у меня на столе, я – страстно мечтающий сбежать куда-нибудь подальше от всего этого, зарыться, как страус, головой в песок, я – трус и нытик – хочу оперировать! Да, хочу!.. Иногда.

Йохим надолго замолк, утомленный откровением и, главное, французским, который требовал от него большого напряжения.

4

Дорога, ведущая к дому Дювалей, долго петляла в улочках уютного средневекового города, неподалеку от Ниццы, поднимаясь все выше и выше над уровнем моря. Наконец Дани притормозил у высокой каменной ограды с перекинутыми через нее длинными лозами цветущих штабельных роз и трижды просигналил. Ворота, ведущие в сад, отворились, и Дани подтолкнул в спину нерешительно замершего у входа друга. Семейное «поместье» Дювалей представляло собой двухэтажный каменный дом в «историческом стиле» с резными каменными карнизами, круглой башенкой на углу и лавиной густого плюща, чуть ли не сплошь покрывающего стены. Высокие каштаны, уже отягощенные гроздьями ершистых зеленых плодов, витражи из цветных стекол, украшавшие верхнюю часть высоких окон, и буйно цветущие вдоль дорожки кусты роз выглядели вполне идиллически. Дверь в дом была открыта. В темной раме проема отчетливо вырисовывался силуэт седовласой женщины, восседающей, словно на троне, в сверкающем никелем инвалидном кресле. Несмотря на свою немощь и возраст, мадам Дюваль была при полном параде, будто только что отпустила портниху и парикмахера: густые волосы уложены короной, платье из тяжелого жемчужно-серого атласа живописно падало к щиколоткам, укутанным теплым ворсистым пледом. Глядя на лицо старой дамы, сохранившее прекрасную лепку и благородство пропорций, можно было сразу понять, чью генетику унаследовал ее красавчик внук.

Йохиму ничего не оставалось, как поцеловать величественно протянутую ему руку и улыбнуться, поскольку тотчас же после церемонного представления на лице мадам Дюваль появилась озорная, ободряющая улыбка и приунывшему было гостю даже показалось, что левый глаз хозяйки весело подмигнул ему.

– Зовите меня просто Фанни.

Дальше все пошло как-то просто: ужин в столовой без ритуала смены блюд и рюмочно-салфеточного этикета, пугавшего Йохима с детства, с хорошим французским вином и светской болтовней. Фанни старалась говорить для немецкого гостя медленно, членораздельно, избегая серьезных тем.

Обсудили нынешних претендентов на участие в Каннском фестивале, вспомнили Феллини и Висконти, а также показ летней коллекции мод ведущих парижских модельеров, в котором явно проявились симпатии к анархическому молодежному стилю и восточной экзотике. Кое-кто из второстепенных манекенщиц даже обрился наголо, подражая кришнаитам.

– Представьте себе, молодые люди, – Фанни изобразила гримаску шокированной вульгарностью институтки, – Карден и Сен-Лоран выпустили своих девушек на подиум босыми, с голыми животами! Обвешали несчастных цепями и амулетами из скобяных лавок. И это не пляжные ансамбли, а платья «для коктейля!» Можете себе вообразить этот «коктейль»? Уж, наверное, не без марихуаны или ЛСД!

Они болтали подобным образом более часа, наблюдая в открытые окна, как исчезают за деревьями последние лучи солнца. Однако под легкостью непринужденной беседы чувствовалась какая-то настороженность, скрытое ожидание, нависавшее в паузах. Казалось, что Дани и бабушка, понимавшие друг друга с полуслова, к чему-то напряженно прислушиваются. Наконец деревянная лестница, ведущая на второй этаж, закрипела под неуверенными шагами и в комнате появилась женщина.

– Мари, зачем ты поднялась, доктор Ларю не позволил тебе сегодня вставать, – встревожилась Фанни. Но вошедшая, в которой Йохим узнал мать Дани, стояла молча, распространяя в воздухе запах валериановых капель и физически ощутимое напряжение. Круто вырезанные ноздри ее тонкого, с легкой горбинкой носа трепетали от волнения, глаза, устремленные на сына, презрительно шурились.

– Ты... ты точно такой же, как он, твой отец, ты бессердечен и лжив. Ты никогда, никогда не любил никого, кроме себя!.. – Губы Мари судорожно свело, и она разрыдалась, рухнув на своевременно подставленный гостем стул. На Йохима она вообще не обратила внимания. Он же, подметив особую мимическую маску, зафиксированную мышцами и кожей за долгие годы душевного дискомфорта, с лету поставил диагноз – застарелая неврастения, как минимум. Все линии этого не старого еще лица были подчинены выражению постоянно мучавшего женщину недовольства, раздражительности, презрения: «лапки» морщинок в уголках глаз, глубокие борозды у крыльев носа, спускавшиеся к уголкам презрительно изломанного рта, казалось, были не приспособлены для выражения иных эмоций. Женщину невозможно было вообразить смеющейся или ласково улыбающейся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.